





Dr. Augustus C. Smith

Александр АМФИТЕАТРОВ



ЗВЕРЬ ИЗ БЕЗДНЫ

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЧИНЕНИЕ О НЕРОНЕ
В 4 КНИГАХ

ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ
В ОДНОМ ТОМЕ



Издательство
АЛЬФА-КНИГА

Москва
2013

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6
А16

Серия основана в 2007 году

Амфитеатров А. В.

А16 Зверь из бездны. Полное издание в одном томе.— М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2013. — 1080 с.: ил. — (Полное издание в одном томе).

ISBN 978-5-9922-1035-4

В одном томе полностью публикуется знаменитое «четырёхкнижие» известного русского писателя и публициста А. В. Амфитеатрова (1862 — 1938) — «Зверь из бездны». Это блестящее историческое повествование о последнем римском императоре из династии Цезарей — Нероне, одном из самых одиозных властителей в истории, прозванном Зверем из бездны, воспитанном философом-моралистом Сенекой, но отменившем законы добра и нравственности и превратившем жизнь Рима в бесконечную кровавую оргию.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-9922-1035-4

© Художественное оформление,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2013

ЗВЕРЬ ИЗ БЕЗДНЫ



**Зверь из бездны,
несущий на себе Великую Блудницу.**

Рисунок из рукописного латинского комментария на Апокалипсис XII века, приписываемого св. Беату, испанскому монаху бенедиктинского ордена, аббату монастыря Валь-Габато в Астурии. Найден в библиотеке графа д'Альтамира и описан А. Башеленом.

ОТ АВТОРА

Первой книге «Зверя из бездны» я намеревался предпослать обширное введение, с подробным обзором всех четырех частей сочинения, с схематическим рисунком его тезисов, идейного движения и выводов. Основой такого введения должна была служить вступительная лекция к курсу истории Римской империи, который я читал в 1905—1906 годах в Парижской Высшей Школе Общественных Наук, находившейся тогда под дирекцией М.М. Ковалевского. Но я уже не мог добыть из России печатного экземпляра этой лекции, и редактор, который поместил ее в «Вестнике самообразования», В.А. Фаусек, умер, а черновика у меня не осталось. А заново писать то, что однажды было написано и закончено, и печатным станком закреплено, — есть ли на свете занятие, более скучное и мучительное для литератора, и когда кому оно хорошо удавалось? К тому же, когда свел я весь материал воедино, первый том оказался гораздо толще, чем я ожидал, и увеличивать его девятой обширной главой слишком уж нарушало технический план издания. Поэтому я изменил первоначальное намерение и решил дать, вместо введения, междусловие в одной из будущих книг или послесловие по окончании всего сочинения.

Хотелось бы мне, однако, рассказать читателю, хоть в нескольких словах, о происхождении и истории этого моего труда, — не смею сказать: наполнившего, — но неотступно пронизавшего почти двадцать лет моей жизни.

В одну бессонную ночь 1893 года, я снял с полки над кроватью первый, попавший под руку, том и начал читать с первой открывшейся страницы. Том был «Летопись» Тацита в переводе Кронеберга, а место, где она открылась, — 44-я глава XIII книги:

«Около этого времени народный трибун Октавий Сагитта, страстно влюбленный в Понцию, замужнюю женщину, склонил ее огромными подарками к преступной связи, потом убедил ее оставить мужа, обещав жениться на ней, и она дала слово. Она овдовела, но стала откладывать свадьбу, говоря, что не хочет противиться воле отца, и наконец совершенно отказалась от своего обещания, надеясь найти мужа богаче. Тщетно Октавий умолял ее, угрожая ей, говоря, что она погубила его доброе имя, разорила его, просил отнять у него лучше и жизнь, последнее его достояние. Видя, что просьбы его не

действуют, он вымолил у нее одну только ночь, которая уменьшит его страдания и поможет терпеть лишения в будущем. Ночь назначена. Понция приказывает своей доверенной служанке охранять дверь в спальню. Октавий входит с отпущенником, скрыв кинжал под платьем. Свидание началось, как водится между ссорящимися любовниками, спором, мольбами, укоризнами, кончилось примирением, и остальная часть ночи посвящена наслаждению. Внезапно Октавий, в порыве бешеной страсти, поражает кинжалом Понцию, которая ничего подобного не ожидала, ранит прибежавшую на шум служанку и выбегает из спальни. На другой день узнали о преступлении; убийца был всем известен, потому что знали, что он провел ночь с Понцией. Но отпущенник взял это преступление на себя, говоря, что он отомстил за оскорбление патрона. Многие тронулись прекрасным подвигом, как служанка, оправившись от раны, открыла истину. Отец убитой потребовал убийцу к консулам, и когда он сложил с себя трибунство, его осудили по Корнелианскому закону¹.

Этот античный эпизод поразил меня сходством с очень шумным в начале девяностых годов уголовным делом в Варшаве — об убийстве артистки Висновской корнетом Бартеневым. Я невольно задумался:

— Какой благодарный сюжет для драмы.

И решил написать драму «Понция».

Нет ничего легче и нет ничего труднее, чем написать драму из античной жизни. Все зависит от того, как подойти к делу. Я знал на своем веку драматургов, которые не умели просклонять «mensa» и думали, что Квинт Курций — автор греческой грамматики, но, тем не менее, очень успешно сочиняли драмы и трагедии из истории Афин, Рима, Карфагена, ставили их на сцене и стяжали лавры и гонорар. Секрет тут очень простой. В списке действующих лиц, вместо Ивана Ивановича, Аграфены Кирилловны и тому подобных мещан, ставятся Юлий Цезарь, Кальпурния, либо Перикл, Аспазия; место действия определяется, вместо «богатой гостиной», жупельными словами вроде «атриум», «перистиль», «портик»; а затем — актеры должны ходить с голыми ногами и излагать белыми стихами то, что Иван Иванович и Аграфена Кирилловна отлично сказали бы друг другу домашней прозой. Для *souleur locale* читается руководство Зиновьева, Коппа или даже Уэлькенса, а с тех пор, как однажды календарь А.С. Суворина дал список ходячих латинских цитат, у драматургов появилось даже шегольство такими премудростями, как «*Mehercule!*» либо «*Отложим это ad calaendas graecas*».

Другой путь, мудреный и неблагодарный, — когда автор занесет себя гордой мыслью написать античную драму в духе и строе цивилизации той эпохи, в образы, типы и нравы которой хочет он облечь свою идею. Это так страшно трудно, что, правду сказать, на русском языке я не знаю ни одного драматического произведения, сколько-нибудь

¹ Закон Корнелия Суллы, по которому убийца ссылался на остров, а имение его конфисковалось.

удовлетворительного в осуществлении сказанной задачи. Дело в том, что такие авторы непременно желают подставить под ноги статуям, которые они творят, пьедесталы некоторого исторического изучения. А когда берутся за таковое, то, вдруг, с изумлением открывают, что они не имеют права мастерить и самую статую. Потому что — о людях, быте, психологии века, ими избранного, они имели до сих пор лишь представление обывательское, научного же понятия — никакого. Впечатления музеев, художественной литературы и, может быть, путешествия по классическим развалинам смешались в неопределенность, очень, пожалуй, красивую, иногда даже очаровательную, но — красотою театра, очарованием балета. И это принимается за знание, так как полно имен, терминов, хронологических дат и даже, может быть, кое-каких обобщающих исторических гипотез и правовых воспоминаний из старых университетских, если не лекций, то экзаменов.

Искренно, но бесполезно рекомендую таким авторам не простираť своей пытливости к избранному предмету дальше Ренана и французов, стоящих на его романтическом уровне. Искренно — потому, что собственным опытом постиг опасность более глубоких проникновений. А бесполезно — потому, что такие авторы меня не послушают. Кто сказал *a*, скажет и *be*. Ум реалистического склада и аналитических наклонностей, раз уже начал серьезно интересоваться античным миром, на Ренана не остановится. А раз уже не удовлетворяет его Ренан, раз перешагнул он этот порог, — значит, кончено: прощай, драма! прощай, красота и поза! прощай, сверхчеловеческий ужас и великолепие воображенной загадочной жизни! прощай, весь романтический самообман, которым бодрилось художественное вдохновение! прощай, культ приподнятых величий и искусственных кумиров! прощай, весь театральный музей древности — безразлично — в залах ли под потолками дворцов Лувра, Уффици, Ватикана, Неаполитанского *Nazionale*, Эрмитажа, или под открытым небом — в виде руин, облупленных стен сетчатой стройки, акведуков, мостов!.. Вам захочется разбить то «облагораживающее» увеличительное стекло, которое создает, через отдаление времени, условность поз, легенды слов и прочие атрибуты театрального величия. Вас потянет рассмотреть под ними действительность, как она была, и сравнить ее с действительностью, как она есть. И сперва покажутся вам глупыми белые стихи, а потом и многое другое. В тот день и час, когда однажды, сидя в Термах Каракаллы, я услышал мысленно русские слова «предбанник», «раздевальня», «каменка», я понял очень хорошо, что не написать мне своей «Понции» дальше того первого акта, который успел родиться в тот блаженный срок, когда я бредил Ренаном и «Антихриста» его имел настольной книгой. Счастливый Сенкевич! Он удержался на роковой черте и сочинил таки свое «*Quo vadis?*» — произведение, «интересность» которого захватывает дух у обывателя и зачастую очень смешит историка. Совершенно безумный успех этого романа (1896) произвел на меня странное впечатление. Вместо того, чтобы воодушевиться им, я потерял решительно всякий аппетит продолжать свою «Понцию» и забросил ее навсегда. Первый акт, под

названием «Via Sacra», был напечатан в «Пушкинском сборнике» 1899 года.

Вместо того, зарылся я в книги. Французов сменили немцы, а там потянуло к прямым источникам. Первые же авторы, за которых я взялся, утешили меня счастливым открытием: восемь лет классической зубрежки в нелепой гимназии нелепой эпохи графа Д.А. Толстого исчезли из памяти, словно их не бывало никогда. И стоял я, тридцатипятилетний человек, пред Тацитом, Светонием и Ксифилином в такой же латинской и греческой невинности, как гимназист первого класса. Пришлось снова взяться за Ходобая и Курциуса. Выучился, — и куда легче, проще и толковее, чем в первый раз. Какое несчастье классики, когда ими насильно и непосильно засоряют юные детские мозги! Какая радость и прелесть те же классики, когда их изучает добровольно взрослый человек, развивший общим образованием и житейским опытом свою логическую способность и эстетическое чутье!

Чем больше изучал я классиков, тем чаще и ярче смущали меня, публициста по профессии, параллели вечно старых и вечно новых общественно-психологических и бытовых явлений, столь ярко повторенных в империализме XIX века из империализма первых веков нашей эры. Еще не изучая немецких историков-империалистов, я уже пробовал обобщать психологию, этику и социологический сумбур «конца века» (1890—1900) аналогиями с переломной эпохой римской цивилизации около 800 года римской эры. Чем дальше вглядывался я в эти параллели, тем решительнее исчезало во мне прежнее представление прогресса, как прямой линии, тянущейся в бесконечность. И, наоборот, все чаще и чаще представлял я его себе кривою, которая загибается вокруг недвижимого центра в дугу, покуда не встретится сама с собою в окружности, определяющей площадь известного человеческого коллектива. Но когда такой исторический круг прогресса свершен и замкнулся, тут всегда оказывается, что, тем временем, радиус круга вырос и вышел далеко за старую окружность. И от той точки, где он остановился, уже побежала новая окружность, огибающая площадь несравненно большую, чем была площадь старого круга. Если центр — индивидуальная сила человека, то радиус определяет деятельность последнего, как «животного социального»: выражает его способность к созданию коллектива. А созидаемый им коллектив выразит площадью круга, очерчиваемого, на расстоянии радиуса, дугою цивилизации. Индивидуальная сила человека не тронулась или почти не тронулась с места не только с I века христианской эры, но вряд ли и с тех пор, как первая искра Прометеева огня зажгла первый на земле костер. Рост индивидуального интеллекта — не самопричинное явление, но результат распределения интеллектуальных накоплений в коллективе. Но общественная способность человека растет непрерывно, и непрерывно же ею расширяется площадь социального коллектива, и расширение это определяется собой культурный рост человечества. Прогресс никогда не индивидуален, всегда коллективен, хотя бы был наглядно выражен только в индивидууме, а коллектив мнимо казался бы стоящим на гораздо низшей

культурной ступени и даже враждебным прогрессу. В этом глубокий историко-философский смысл известных слов, требующих от высшего интеллекта снисхождения к грубости и вражде интеллекта низшего: «отпусти им, не ведят бо, что творят».

Цивилизации рождаются, созревают, стареют, умирают, — очередной круг прогресса замыкается. Но неутомимый радиус уже выбежал вперед, чтобы дать исходную точку для новой цивилизации, которая начинает жить в то время, как старая умирает, и которая обязательно будет шире старой и охватит собою в человечестве гораздо более численный коллектив. Этот круговой концентрический рост цивилизованного коллектива и выражает собою прогресс. Как читатель видит, взгляд мой соприкасается с исторической теорией Вико (1688—1744), — однако, только соприкасается, но не следует ей. Вико был прав, когда заставил свои три «возраста народов» вращаться круговым движением, но он ошибался в том, что замкнул свой круг в непреложность вечной повторности и вообразил его в одной плоскости. Это осуждает прогресс на роль великой исторической белки в мировом колесе. Я же принимаю непрерывный рост круга вширь и ввысь, то есть, собственно говоря, вижу пред собою восходящую и расширяющуюся спираль, развивающуюся от первобытной точки к охвату бесконечных широт.

Прогресс почти не изменяет существа человеческой индивидуальности, но изменяет условия, в которых она проявляется, — всегда к новому и лучшему. Застойные и реакционные, попятные эпохи — только оптические обманы истории. Они чрезвычайно мучительны для современников, но прогресса остановить не в состоянии. Мало того, бессознательно для своих исторических факторов, они сами работают на прогресс. Век Тиберия, Клавдия, Нерона подготавливает век ап. Павла; из тьмы Средних веков занимается заря Возрождения; Александр VI Борджиа необходим для того, чтобы восторжествовала Реформация; величайшие строители монархий — Людовик XI, Иоанн III, прусские Фридрихи — не подозревали будущих форм государств, которые они выработали; без Наполеонов не созрел бы столь быстро в государственную практику буржуазно-республиканский принцип; социализм обязан своим ростом Меттерниху (беру его имя здесь, как последнего типического вождя «старого режима», которому суждено было дожить до первых раскатов молодой социалистической грозы и узнать в ее младенческом богатстве будущего Геркулеса), Бисмарку, Александру III и Плеве — заклятым практическим врагам своим — не в меньшей мере, чем своим теоретическим апостолам, — Лассалю, Марксу, Энгельсу. Ибо все, кто когда-либо сказал прогрессу — «нет», уподоблялись библейскому Валааму, который, будучи приглашен, чтобы изречь слова проклятия, противовольно произнес слова благословения. Если бы реакционные эпохи были фатальны, то не имела бы никакого смысла и борьба с ними: достаточно было бы пережидания, как указал Н.К. Михайловский в полемике со Строниным, заблудившимся в непонятых им круговращениях Вико. Коллектив борется с реакцией не из страха, что она задушит

прогресс навсегда: нет человека, которому инстинкт не говорил бы, что это невозможно. Суть борьбы — в том, чтобы реакционные эпохи отбывали свой срок быстрее и с меньшей жестокостью к современности, по уровню, достигнутому прогрессом эпохи. Мы, русские, переживаем сейчас одну из наиболее реакционных политических полос, какие только знала новейшая история Европы. И, однако, даже эта реакционная полоса совершается орудиями и формами, которые являются победами мирового прогресса, и без которых эта наша частная реакция была бы совершенно бессильна, ибо сразу потеряла бы всякий кредит — и материальный, и моральный — у прогресса общего, мирового, единственно компромиссами с которым она может поддерживать свое существование. Всякая частная реакция сильна лишь постольку, поскольку ей удается пред лицом общего прогресса выдавать себя за его охранительницу, и лишь до тех пор, пока общий прогресс, сводя свои плюсы и минусы, согласен терпеть ее, почитая ее наличность за свою печальную, но необходимую сторону. Реакции самодовлеющей, собственно говоря, не бывает. Никогда ни один реакционер, если он не сумасшедший, не выступал с проповедью реакции ради реакции; каждый, напротив, пропагандирует меры реакции, как «спасительный тормоз» прогресса. Когда политический романтизм зовет народы к понятным движениям, указывая свои идеалы далеко позади на пройденном уже историческом пути (иезуиты, Священный союз, наши русские славянофилы, московские панслависты, победоносцевцы, мистики-декаденты, дворяне-крепостники и т.п.), он мечтательно обманывает и жертвы свои, и самого себя, потому что самым большим для таких «романтиков» несчастьем оказалось бы исполнение идеала, которым они бредят. Неронические деяния повторялись в разные века многими позднейшими просвещенными деспотами. Но ни один позднейший деспот не смел и не мог открыто сказать своей современности: «Мой идеал — Нерон, и я буду править по программе Нерона». Если бы самого заклятого нынешнего русского реакционера перенести в эпоху Петра I, Екатерины II, Аракчеева, Николая I, он почувствовал бы себя в обществе, лишенном всех прав состояния, и пришел бы в то совершенное гражданское отчаяние, что создавало декабристов и петрашевцев. Да и незачем ходить так далеко за предположительными примерами. Каждый из нас, переживавших восьмидесятые и девяностые годы, наглядно видит осуществление множества гражданских прав и рождение таковых же ожиданий естественным ходом времени, тогда как, двадцать лет тому назад, самый передовой боец не ожидал, чтобы они могли быть достигнуты иначе, как путем насильственного переворота. Между тем, мы переживаем несомненно реакционную эпоху, совершившую ужасы, пред которыми бледнеют многие жестокие легенды прошлых веков. В каятах и на палубах парохода, когда он плывет вниз по реке, могут происходить очень скверные и страшные деяния, но они не задержат общего движения парохода вперед, и даже если его машина сломается, так он будет идти по течению, а не против течения, и если самый пароход расшибется в куски, то и обломки его

поплывут вперед, а не назад. Если бы это постоянное передовое стремление не было законом, то ни одно прогрессивное движение человечества не имело бы смысла, так как единственное, чего может достигнуть в нем человек, это — ускорение темпа, развитие интенсивности прогресса. И в нем-то, в ускорении-то этом, в развитии-то интенсивности, и заключается задача так называемых передовых людей каждой эпохи. Когда веку кажется, что такие люди идут п р о т и в т е ч е н и я, это — оптический обман, потому что, в действительности, они — лишь одни из немногих, которые угадали великое общее течение, влекущее человечество вперед. Против течения плышет то близорукое большинство, не способное глядеть дальше собственного порога и завтрашнего дня, которое прилагает усилия, чтобы недвижно стоять на месте или плыть по кажущемуся, частному течению, не подзревая о существовании великого общего. Если понятен будет мой парадокс, я позволю себе сказать, что реакция есть тот же прогресс, но постигнутый умопомешательством, стремлением к самоискажению и самоуничтожению. Все, что в ней произвольно, обращается больной волей в тормозы прогресса; но произвольная сила всей субстанции века влечет ее, все-таки, куда тянет прогресс. И нет, и не было такой реакционной эпохи, по окончании которой общая сумма прогрессивных накоплений оказалась бы меньше, чем при ее начале. Реакция властна только над пространством, но никогда не над временем. Она может только перемешать накопления прогресса, временно оттесняя их от той или другой группы людей, но ни уничтожить их, ни остановиться в их накоплении она не в состоянии.

В кругообразном движении своем цивилизации знают свое детство, юношество, зрелость, старость, но, собственно говоря, не знают смерти. Ни одна из отживших цивилизаций старого света не умерла бесследно, не перелившись в другую всем, что было в ней полезно и нужно для человечества. Что касается отживших цивилизаций Нового Света, они еще не заговорили вполне понятной речью, но движение науки, наверное, развяжет косный язык их, и тогда они скажут, быть может, даже больше, чем обещают первые их намеки. Когда окружность культурного круга смыкается, точка ее пересечения с радиусом всегда богата необыкновенно типичными бунтами против коллектива в сторону индивидуальности: людьми, разочарованными в своей цивилизации, конец которой они инстинктивно чувствуют в существе и росте социальности, в самой человеческой природе. Эти люди — верное знамение упадка цивилизации — создают, на сказанных пересечениях, усиленный культ личности. Последний может принять или окраску высшего реакционного эгоизма, когда личность объявляет себя божественной, а всю окружающую современность — областью служения своему божееству. Или, наоборот, форму высшего стремления к идеалу, когда обожествляется не субъективно-конкретная величина, не свое чье-либо «я», но воображаемая, отвлеченная идея облекается в символ и воплощает собою задачу и мечту отжившей цивилизации — с тем, чтобы перейти в новую, религиозным ли мифом, философским ли образом, легендами ли, облекшими то или другое историческое ли-

цо. Словом, эти роковые для цивилизации пункты замкнутия и пересечения характеризуются тем, что с одной стороны в них — по прямой радиуса, как по кратчайшему расстоянию между двумя точками — пробуждается и усиленно заявляет свои права древний исходный центр, первобытное индивидуальное человекозверство; а с другой — новый порыв социального радиуса за предел свершившегося круга облекается в индивидуальную иллюзию коллективного идеала. Первым процессом распложаются человекобоги: культ живых идолов; второй — весь сплошь — тоска по богочеловеку, мессианизм. Разумеется, оба процесса редко свершаются в чистоте. Идейные комбинации их смешения и путаницы сплетают тот сумеречный хаос, которым характеризуются упадочные эпохи, периоды «декаданса».

Людам, пережившим и переживающим наследия контрастного века Ницше и Толстого, Маркса и Льва XIII, Достоевского и Рескина, Ибсена и Тьера, Бисмарка и Гладстона, Вагнера и Дарвина, Шопенгауэра и Оффенбаха, Золя и Бодлера, не удивительно было почувствовать кризис своей цивилизации. Конец XIX века открыто признал и провозгласил себя «эпохой декаданса». Это — голос инстинкта. Очень может быть, что декаданс этот протянется не один еще десяток лет и даже не одно столетие, как были уже тому примеры в ранее отживших цивилизациях. Но инстинкт не обманывает: круг великой пятнадцативековой цивилизации, которой дается не правильное имя христианской, замкнулся, и социальный радиус уже завоевывает новую площадь для коллективов новой цивилизации... Как определит эту новую цивилизацию история? Мы можем только гадать и мечтать. Все, без исключения, утопии будущих веков намечают для новой цивилизации пути социалистические. Но судьба всех утопий быть жалкими и слабыми сравнительно с полетом действительности. Последние двадцать-тридцать лет технического и научного прогресса осуществили множество успехов, которые, еще в 60-х годах прошлого века, мечтались, как *pia desideria* лет этак через 200—300.

Кризис цивилизации, выдвинувшей на сцену человекобогов и сверхчеловеков, эпидемию ликующего зверства и эпидемию экзотических мессианизмов (ибо в наше время они необычайно пестры и разнообразны), потянул меня в изучение таких же критических эпох в цивилизациях отживших и, в особенности, в ближайшей к нам — цивилизации греко-латинской, осуществленной в стройной громаде Римской империи и растаявшей вместе с нею. Вот почему «Царство Зверя», как я сперва хотел назвать мой труд, носило подзаголовок «Культурно-исторические параллели».

Эпоха Нерона захватила мое внимание, и, мало-помалу, «Царство Зверя» пришлось переименовать в «Зверь из бездны», в силу центрального положения, которое заняла в моем сочинении фигура последнего Цезаря Юлио-Клавдианской династии. Мне часто приходилось слышать и, вероятно, еще придется, что, для вышеозначенной цели «культурно-исторических параллелей», я мог бы выбрать удачнее какую-либо позднейшую эпоху Римской империи, более близкую к фактическому концу ее. То есть — когда роковая болезнь дека-

данса обозначилась ярче и уже выдала смертельную опасность, разрушающую великое государство и воплощенную в нем одряхлевшую цивилизацию. Одни указывали на Юлиана Отступника, которым так эффектно воспользовался впоследствии г. Мережковский для своего романа «Умершие боги», другим казались более критическими гранями Миланский эдикт Константина, государственная реформа Диоклетиана, религиозное брожение эпохи Северов.

Все эти даты имеют за себя много, но все они говорят об умирании, о государстве сознательно больном, о цивилизации наглядно истощенной, растерявшей свои идеи и людей, живущей только традицией, разрабатывающей формы без содержания, переведшей человеческие отношения в ту страшную внешность, когда господствующими в мире силами становятся — международно — война, а внутри народов — *ratio scripta* римского гражданского права. Словом: цивилизации, давно уже толкущейся на одном месте в замкнутом и как бы заколдованном кругу, где она и обречена сваянуть. Все, что в эти эпохи здорово, сильно, жизнеспособно и производительно, принадлежит уже к новой цивилизации, протянувшей свой радиус далеко за окружность умирающей римской идеи.

Я предпочел эпоху Нерона за бессознательность ее декаданса. Это — век еще очень самодовольный, гордый, заносчивый, сильный, полагающий себя чрезвычайно здоровым и творческим и отнюдь не чувствующий в себе роковой трещины, которая его должна развалить и уничтожить. Пять первых лет правления Нерона, как известно, даже сто лет спустя вспоминали, как счастливейшее и благополучнейшее время римского государства. Наполеон указывал на эту эпоху, как на образец того, что в награду за хорошие и прочные государственные учреждения народы легко примиряются с личными пороками государей. Римская идея стояла почти на вершине своего счастья и охвата и в такой мощной прочности, что отлитых ею форм демагогического принципата не в состоянии была разрушить даже пестрая и страшно воинственная революция, окружившая падение последнего потомка Августа и смену династии рядом кровавых *pronunciamentos*. Это эпоха в высшей степени ликующая. Ее верховный представитель сам говорил, что до него государи не отдавали себе отчета, что значит власть, — сказать на языке нынешнего декаданса: не умели желать. А один из ближайших его предшественников не нашел возможным принять титул царя потому, что охотно принял доказательства, будто титул этот для него низок. Собственно говоря, изучив век Калигулы, Клавдия, Нерона, историк не может не расстаться с ними печальной прощальной мыслью:

— Вот все — и в хорошем, и в дурном — что в состоянии дать так называемый просвещенный абсолютизм.

В 70 году по Р. Х. римская идея совершила один из самых блистательных и самых роковых своих подвигов. Тит Веспасиан, после долгой осады, взял штурмом Иерусалим, и *Iudaea capta et devicta* сделалась римской провинцией. Священный союз Иерусалимского храма потерял свой вещественный символ, державший его своим единст-

вом, как вино в сосуде, и разлился в мире ферментом новых идей, положивших начало новой цивилизации. Христианская идея была в числе их, и так как со временем ей выпало на долю наиболее крупное торжество, выразившееся в политическом союзе сперва с дряхлеющим римским государством, затем с государствами, его наследниками, — то и новая цивилизация получила название христианской. Собственно говоря, это название неверное и узкое, *pars pro toto*. Вернее было бы назвать эту цивилизацию иудео-европейской: первая половина обозначения указывает место ее происхождения, вторая — пространственный круг, который она очертила своим радиусом, а полность выражает победный союз семитического идеализма с арийской реальностью. Арка Тита на Священной дороге античного Рима — последняя ступень Библии и первая ступень заветов нового человечества. До этого порога и я намерен довести свою работу: картину «бездны», откуда поднялся великий римский «зверь», чтобы поглотить роковую добычу, которая, быв вне его слабее его, оказалась внутри его сильнее его. И сделалась госпожей зверя, и стала его характером, и переработала его, и поработила его себе Евангелием, Талмудом, Кораном. А сама тоже переработалась в нем и обрела то, чего ранее никак не могла найти в течение почти тысячи лет: государственную форму и, в форме, сильную власть. «Царство Зверя», оживленное новым духом, встало из мертвых — именем Евангелия — на Западе в виде папского престола и конгломератных государств, в пределах которых не заходило солнце; на Востоке в виде Византии и, надыхавшейся ею, Москвы, откровенно провозгласившей себя «третьим Римом» еще в XV веке. В XIX веке «Царство Зверя», благодаря Наполеоновским войнам, разбудившим в Европе великую идею объединения народов в национальные государства-колонны, воскресло в империализме французском, германском, британском. Если первый выяснил свое родство с Римом древних Цезарей устами и пером обоих новых цезарей — Наполеонов Первого и Третьего, то для второго нашелся высший научный авторитет, в лице таких ученых как Т. Моммсен, Эрнст Герцог, Герман Шиллер и др.; а третий, даже в наши дни, проповеданный Чарльзом Дильком, воодушевляет на англо-римские сближения престарелого Брайса, как, полвека тому назад, воодушевлял Мериваля, и, перекинувшись через океан, поднимает свою голову даже в Северо-Американских Штатах. Так в странах Евангелия. Мне скажут: почему же вы как будто оставляете в стороне империализм русский, который, укрепив воспринятую от царской Москвы идею «третьего Рима» мнимым завещанием Петра Великого, вот уже два столетия работает, не покладая рук? Во-первых, потому, что с наглядностями этого империализма читателю предстоит встречаться в «Звере из бездны» чаще, чем с примерами других. Во-вторых, русский империализм, как смешанное создание Византии, татарщины и немецкой канцелярско-вахт-парадной дисциплины, хаотической практикой своей говорит уму не столько о цезарях, сколько о древних восточных деспотиях, с их сатрапиями, либо о великих империях средневековых монголов.

Коран облекся формой «царства зверя» в Османской империи, для государственных людей которой традиция древних «руми» еще в конце прошлого века была высочайшим государственным авторитетом, и провинциальная система которой, под гадким мусором наносной азиатчины, сохранила много и хорошего, что умела сберечь от римского наследия развалившаяся Византия. Талмуд не нашел для выражения своей государственной формы территориальных условий, но зато содействовал повсеместному сосредоточению одной из грознейших сил «царства зверя» — власти денежной — в сплоченных им недрах европеизированного иудаизма. Все изменилось — и ничто не изменилось. Если в Лассале, Марксе, Энгельсе пришел в XIX веке, чтобы овладеть веком XX, тот же великий социалистический дух, что смутно и утопически лепетал первые слова своего сознания устами Исаяи и подложного «Второзакония», то в Биконсфильде говорил тот же дух, что Иеремию сделал сторонником Навуходоносора, а Иосифа бен Матафию превратил в Иосифа Флавия и заставил видеть в Римской империи символ и таинственное воплощение Провидения на земле.

В одну из своих поездок в Италию, которые во второй половине девяностых годов я совершал ежегодно, я имел счастье познакомиться в Риме с Моммсенем. Он произвел на меня глубочайшее, благоговейное впечатление. И в то же время, — странное дело! — коротким, всего в три свидания, знакомством, освободил меня от подчинения своему давящему полубожественному авторитету. Как сейчас помню его маленькую седовласую фигурку, на Форуме Римском, у новых раскопок Бони, и слова, которые он сказал тогда в разговоре и повторил потом, несколько лет спустя в письме, полученном мною от него в ответ на просьбу мою о некоторых указаниях и советах. Я огласил это письмо в 1904 году, по смерти Моммсена. Но так как я в то время был уже человек ссыльный и опальный, и швыряла меня судьба из Минусинска в Вологду, из Вологды в Петербург, из Петербурга опять в Вологду, из Вологды в Рим и Париж, то архив мой растрепался по этим этапам совершенно. Ни оригинала письма, ни номера газет, в которых оно было напечатано, я сейчас не имею (хотя они целы) и потому должен передать то место, которое меня в нем поразило, не дословно, но лишь идейно, в прилизительных выражениях.

— До 1848 года, — писал Моммсен, — публицистика шла на поводу у истории. После 1848 года история пошла на поводу у публицистики. А в XX веке они сольются. Публицист будет иметь общественный вес постольку, поскольку его проповедь исторически обоснована, а историк будет признаваться постольку, поскольку его знание может дать публицистике источники и фундаменты идей.

Собственно говоря, ничего нового в словах этих нет — кроме разве интересного хронологического разграничения публицистического и исторического преобладания в науке XIX века. Но из уст величайшего историка минувшего столетия, они прозвучали для меня твердой, еще раз новой санкцией того вечно живучего, публицистическо-

го духа, силою которого связывали римскую древность со своей современностью в XVI веке Николо Маккиавели («Замечания на Тита Ливия», 1516), на границе XVII и XVIII веков Бэйль, Монтескье («Размышления о причинах величия и падения римлян», 1734), затем энциклопедисты, Вольтер, писатели и деятели первой французской революции, консулата и империи, — силой которого и сам Моммсен, юрист по образованию и пламенный германский патриот-объединитель, отдал жизнь свою и всю мощь своего гения изучению учреждений римского народа.

Слов Моммсена я никогда не забывал, работая над «Зверем из бездны». Другие слова, которые остались мне очень памяты и полезно повлияли на мою работу, были сказаны случайно — не ученым и не историком, а товарищем моим по журналистике, известным литератором, остроумнейшим из русских фельетонистов, В.М. Дорошевичем. Когда он прочитал тот небольшой отрывок из моего труда, который, тоже под заглавием «Зверь из бездны», печатался в покойной газете «Россия» (умерла 13 января 1903) и был ему посвящен мною в знак нашего сотрудничества и дружбы, — он с удивлением увидел, что римские императоры, легендарные всесторонним негодяйством своим, далеко не такие страшные черти, как их малюют, — по крайней мере в сравнении со светскими и духовными владыками последующих веков новой «христианской» цивилизации.

— Послушайте, — сказал — и очень хорошо сказал — Дорошевич. — Но ведь, оказывается, это просто правители, о которых истории удалось узнать все до конца, тогда как о позднейших мы знаем только легенду и сплетню, дифирамб или памфлет.

Сейчас, после одиннадцатилетней новой работы, я уже не подписуюсь под этим мнением, так как отравлен скептицизмом ко множеству источников и авторитетных комментариев, которые прежде принимал на веру. Но это мнение указало мне наличие в моем труде того публицистического духа, ради которого я работал свои «культурно-исторические параллели». Теперь этот маленький подзаголовок приходится снять, так как частная точность его исчезла в росте труда моего из коротенького, довольно голословного, прямолинейного этюда в четырехтомное историческое исследование.

Профессия журналиста — неблагоприятный фон для научной сосредоточенности. Я мог заниматься любимым трудом своим лишь в промежутках публицистических статей, фельетонов, газетной полемики, редакционных занятий, приемов и разговоров. Тем не менее «Зверь из бездны» был почти готов и объявлен к выходу еще в 1902 году. Но — вместо того, чтобы заняться этим изданием, — мне пришлось отправиться в ссылку, а два года спустя — переселиться за границу. Целый год рукопись и материалы к ней даже не были в моих руках, так как бумаги мои были зачем-то забраны, при обыске, в департамент государственной полиции. Манускрипт «Зверя из бездны» с курьезными отметками чьего-то «там» внимательного чтения я и сейчас храню, как своеобразную достопримечательность. Восточная Сибирь и кочевой быт эмиграции вынудили меня надолго забыть свои

тетради. Когда же я получил возможность заняться ими снова, то убедился, что, за пятилетний перерыв общения с западной наукой, невольно пережитый моим трудом, исследование эпохи, которой посвящены мои «культурно-исторические параллели», шагнуло значительно вперед и требует от меня для «Зверя из бездны» очень серьезной редакционной переработки. Многие, что в конце девяностых годов я имел право считать новой мыслью, оригинальным взглядом, успело стать широко известным общим местом, уже не нуждающимся в доказательствах и выяснениях. Многие устарело, обстоятельно опровергнуто и, следовательно, подлежит устранению или исправлению. А многое, наоборот, открывало новые пути, горизонты и свету, которыми было бы грешно не воспользоваться, как исходными точками к новым далям. Огромное впечатление произвел на меня в свое время (1907) великолепный труд Ферреро — «Величие и упадок Рима» (вышло пять томов — до Августа включительно¹). Работа итальянского историка кончается, покуда, как раз там, где «Зверь из бездны» начинается: в эпохе принципата Юлиев-Клавдиев. Грандиозное творение Ферреро поразило меня общностью во множестве взглядов, а главное, в самом типе публицистической обработки исторических данных, которою создан был мой собственный труд и которую Моммсен предрекал, как характерную и необходимую для XX века. Поэтому я снова решил было отложить печатание «Зверя из бездны» на неопределенное время, а сперва выпустить в свет перевод труда Ферреро. Это — казалось мне еще в 1908 году — избавит меня, кстати, и от огромного труда писать введение о римской государственной эволюции до принципата, то есть опять-таки, пожалуй, добрый том. Я организовал было группу переводчиков, в сотрудничестве с которой и надеялся выпустить в свет русское издание «Величия и упадка Рима». Но работники мои перевели Ферреро плохо, редакция потребовалась долгая и большая, а тем временем и я во многом у Ферреро разочаровался, да и сам Ферреро в своей последней, много нашумевшей речи *Roma nella cultura moderna*, уже далеко не тот, каким являлся он в первом итальянском издании своего капитального труда. По всему этому, вопрос об издании Ферреро затянулся даже и по сие время. К тому же, тем временем, появилось на русском языке несколько прекрасных самостоятельных работ о той же эпохе (назову хотя бы «Очерки истории Римской империи» проф. Виппера), которые даже имеют пред Ферреро — несколько распылчатый, слишком красноречивым и иногда произвольным в допущениях — преимущество стройной сжатости и более обоснованной доказательности.

Одержимый вечными сомнениями и чтениями новых и новых чужих работ, я, вероятно, и сейчас не решился бы выпустить в свет «Зверя из бездны», если бы не потребовали нового издания мои «Антики» — вышедший в 1909 году сборник этюдов и подмалевков к «Зверю из бездны». Все эти бытовые популяризации, появляясь в

¹ Guglielmo Ferrero, «Grandezza e Decadenza di Roma», volumi I—V.

разных периодических изданиях, были встречаемы публикой дружелюбно, перепечатывались частями и полностью в провинции, частенько я получал читательские запросы, где можно найти ту или другую статью. Это и побудило меня соединить их в сборник. Сейчас, когда потребовалось второе издание «Антиков», я подумал, что уж лучше, вместо отрывочных статей, дать наконец систему, к которой они относятся и из которой извлечены. Каковы бы ни были недостатки и несовершенства моего труда, очень хорошо мною сознаваемые, но — не полотно же он Пенелопы, чтобы сотканное утром вечно распускалось ночью. Да и Пенелопа проделывала этот фокус всего только десять лет, а ведь с тех пор, как я серьезно за «Зверя» принялся (1896), вот уже скоро 15.

Есть в «Звере» сторона, в недостатках которой я заранее так уверен, что не могу не извиниться за нее. Живя очень далеко от Петербурга, где «Просвещение» печатает мои книги, я не могу читать больше одной корректуры. При моем слабом зрении этого мало. Как бы ни была добросовестна и хороша типографская корректура «Просвещения», она не исключает возможности ошибок, перешедших из оригинала, воспроизведенного с моих черновиков при помощи пишущей машинки, ибо за описками слепые глаза мои решительно не в состоянии уследить. Это причина, по которой, быть может, читатель встретит кое-где разнообразное чтение собственных имен, напр. Домитий и Домиций, Агенобарб, Аэнобарб, Паллас и Паллант, Кней и Гней и т.п., что объясняется разными эпохами, когда я писал сочинение. Точно так же хронологические даты, может быть, не всюду представлены по обеим эрам — римской *ab urbe condita* и обычной от Р. Х. Могли возникнуть ошибки при переписывании цитат, в особенности греческих, так как переписчица моя этого языка не знает, и приходилось ей их просто таки срисовывать.

Работа моя, хотя замкнутая и одинокая, не могла обойтись без сотрудников в технической ее части. Считаю священной обязанностью помянуть с чувством искренней признательности покойную М.Г. Деденеву (ум. 1909), сделавшую для «Зверя из бездны» довольно много переводных работ с разных языков, а также поблагодарить К.А. Лигского, взявшего на себя чертежи планов, больших родословных и хронологических таблиц, и Е.П. Бураго, оказавшую мне огромную услугу, переписав всего «Зверя из бездны» с его ужасных черновиков для оригинала к типографскому набору.

Александр Амфитеатров.

Fezzano.

1911. II. 21/8.

КНИГА ПЕРВАЯ

ДИНАСТИЯ ПРИ СМЕРТИ

Глава первая РОДОСЛОВИЕ И НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

I

Л. Домиций Аэнобарб, впоследствии император Нерон Цезарь, сын Гн. Домиция Аэнобарба и Юлии Агриппины Младшей, родился в кампанском городе Антии, ныне Анцио, ранним утром 15 декабря (XVII Kal. Januar.) 790 года от основания Рима, то есть 37-го по Рождестве Христовом.

Короткая, бурным смерчем в громе и блеске пролетевшая, жизнь этого государя, — а еще вернее будет сказать, — легенда об его жизни, не похожа на действительность. Это — сон, бред, кошмар: волшебная феерия, полная нелепых недоразумений, роковых неожиданностей, сказочных превращений, балаганных фарсов, адских ужасов и сладострастных живых картин. Тридцатилетний хаос лихорадочных грез и впечатлений, вспыхивающих и пропадающих с быстротою и силою молний. Падают дожди из белых роз, ручьи текут вином, фонтаны брызжут алою кровью. Вьются хороводы красавиц, добрых и злых фей, торжественно выступают мудрецы-кудесники, чудотворцы, философы, герои, — и дико хохочут, кривляясь в гееннских огнях, свирепые демоны — палачи и шуты князя века сего, великолепного апокалипсического «Зверя из бездны». Высшие красоты любви сверкают нетленной прелестью — над «сатанинскими глубинами» ее извращений и пороков. Из-под священного пурпура владыки вселенной сквозят пестрый колпак и лоскутная хламида площадного скомороха. Вверху прекрасный, как солнце, беломраморный лик Аполлона Кифареда; внизу, у ног его, — обезглавленные трупы, ванны, дымящиеся кровью, выпущенной невольными самоубийцами из перерезанных вен. Веселье вечного праздника, звуки мечтательной лиры, радужный мираж сцены и кулис, красивые стихи, изящные куртизанки, — и Вечный Город в огне, и пламя «живых факелов» пожирает людей, завернутых в смоляные рубахи.

В таком романтическом свете рисовался Нерон историкам, поэтам, литераторам, артистам и художникам почти пять столетий, отделяющих нас от эпохи, когда великое открытие или гениальная подделка Тацитовой летописи воскресили трагический Рим века цезарей пред родственными ему глазами итальянского Возрождения. Критический анализ XIX века снял с этого стихийного образа много неве-

роятных украшений и выbleднил его сказочный колорит. Поблекло и отвергнуто значительное количество легенд, принимавшихся прежде как неоспоримые факты; аморальные поступки и увлечения, считавшиеся прежде исключительной редкостью индивидуальной порочности или даже демонической одержимости, освещены трудами невропатологов и психиатров как органические недуги, распространяемые наследственностью во всех вырождающихся обществах. Словом, Нерон-демон, Нерон — сверхчеловеческое воплощение и полубожество «царствующего зла», Нерон-Антихрист, живой противоположник жизни, этики и учения Христа, властитель, пророк и жрец «глубин сатанинских», Нерон романтиков от Гамерлинга до Сенкевича, от Пьетро Косса до Рубинштейна и Семирадского, Нерон историков-риторов, в числе их и Ренана, — такой Нерон, к нашему времени, изрядно вылинял и упростился. Но и за всем тем, как центральный человек своей эпохи, как царственный двигатель и выразитель античной культуры в весьма решительный и переломный ее момент, Нерон — фигура громадно-показательная и, в своем особом роде, действительно, романтическая. Переместилась лишь, если понятно будет так выразиться, исходная точка романтической его интересности: романтизм личности затмился, в своем индивидуальном эффекте, романтизмом коллектива, которого личность была фокусом. Изумление и ужас, воспитанные в Европе традициями сперва римско-республиканской, аристократически — философской, затем церковно-государственной и христиански-бытовой этики, даже не веками, а десятками веков видели в Нероне своеобразное «чудо истории», демонического выродка цивилизации, небывалого раньше и не повторенного историей потом. Взгляд этот слегка поколебался в конце XVII столетия, потерпел резкие поправки в пересмотре его энциклопедистами XVIII века и империалистами XIX и мало-помалу сменился скептическим доказательством, что не один Нерон был выродком цивилизации, но вся цивилизация его века, свершив сужденный ей эволюционный круг, сошла на уровень истощенного выродка, склонилась к «упадку». Нерон явился в ней только тем человеком и таким государем, каким лишь и мог естественно явиться, каким лишь и должен был логически сформироваться владычный центр и символ великого упадочного коллектива, в котором изжитое прошлое пышно разрушалось и, в жирном зловонии, разлагалось, а будущее, среди тлена этого, еще не мерцало хотя бы даже блуждающим огоньком. Настоящего не было. Старый идеал умер — новый идеал еще не родился. По середине была пустота — идейный провал, бездна гниения, разочарования и безнадежности. В ней копошились странные человекообразные существа, презирающие свое вчера и глубоко равнодушные к своему завтра. Это были люди, потому что были они человечески умны, образованы, общительны, храбры, имели законы, литературу, искусство и были настолько сильны эстетическим чувст-

вом, что оно стало в них даже как бы физиологическим, и бывали среди них уже такие, которые, без наглядной красоты в жизни, страдали едва ли не столько же, как без пищи и питья. Но они же были и скоты, потому что были они зверски эгоистичны и страстны, жестоки, жадны, свирепы и сытость всех плотских инстинктов обожали до такой животной наивности, что даже самым грязным и пошлым физиологическим потребностям спокойно отводили почетные места не только на красивых ступенях своего эстетизма, но и в религии. Во главе этой удивительной бездны людо-зверей, как ее последнее слово, поднялся и стоял тот, кому и естественно было стоять: ее избранник и любимец, — собирательный результат ее вырождения и самый типический из вырожденцев, — эстет над эстетами и скот над скотами, — великолепный и чудовищный, утонченный и первобытный, — воистину «Зверь из бездны», — цезарь Нерон.

Фантастический склад жизни Нерона и безалаберная неопределенность личного его характера, почти во всех эпизодах его биографии противоречивого и двусмысленного, дали исследователям эпохи основание признать последнего цезаря Юлио-Клавдианской династии душевнобольным. Одни настаивают видеть в нем прирожденно-го изверга, существо из расы людей-преступников, с почти сверхъестественным развитием всех инстинктов и способностей животного порядка при полной атрофии начала нравственного. Другие почитают Нерона сумасшедшим, различно квалифицируя его предполагаемое безумие. Третьи — только человеком с дурной наследственностью и сильно потрясенной нервной системой: несчастным вырожденком нескольких знатных и развратных фамилий, невропатом, который всю жизнь свою скользил по границам безумия, время от времени переступая их в буйных эксцессах тщеславия, жестокости и сладострастия. Не перечисляю покуда остальных гипотез и догадок в том же направлении: сейчас важно установить не разветвление и подробности этого взгляда — ими со временем придется мне подробно заняться в заключительной поверке и критике своих собственных выводов, — важно установить только общее правило, что все, кто в последние два века писали о Нероне и его эпохе, по данным древних источников, — все, и его хулители и его немногочисленные апологеты, дружно сходятся в признании некоторой психической недужности этого цезаря. Авторы разногласят лишь в определениях ее форм, сроков, интенсивности: спорят — что в нравственных аномалиях Нерона было прирожденного, что приобретенного жизнью и воспитанием, высока ли была их повелительная энергия, каких достигали они степеней развития и напряжения, и, наконец, были ли они постоянным и непрременным злом его жизни или только случайным и перемежающимся.

В виду крайней психической сомнительности Нерона, вопрос о его наследственности должен быть рассмотрен с особенно тщатель-

ным вниманием, в особенно последовательной подробности. Проверая родословие цезаря в четырех поколениях, нельзя не вынести заключения, что природа и культура, по крайней мере, сто лет неумолимо работали, чтобы создать из него последний роковой фокус одновременного вырождения четырех могущественных фамилий, — Юлиев-Октавиев, Антониев, Клавдиев и Домициев Аэнобарбов, — переродившихся между собою до близости почти — а в иных случаях и совершенно — кровосмесительной.

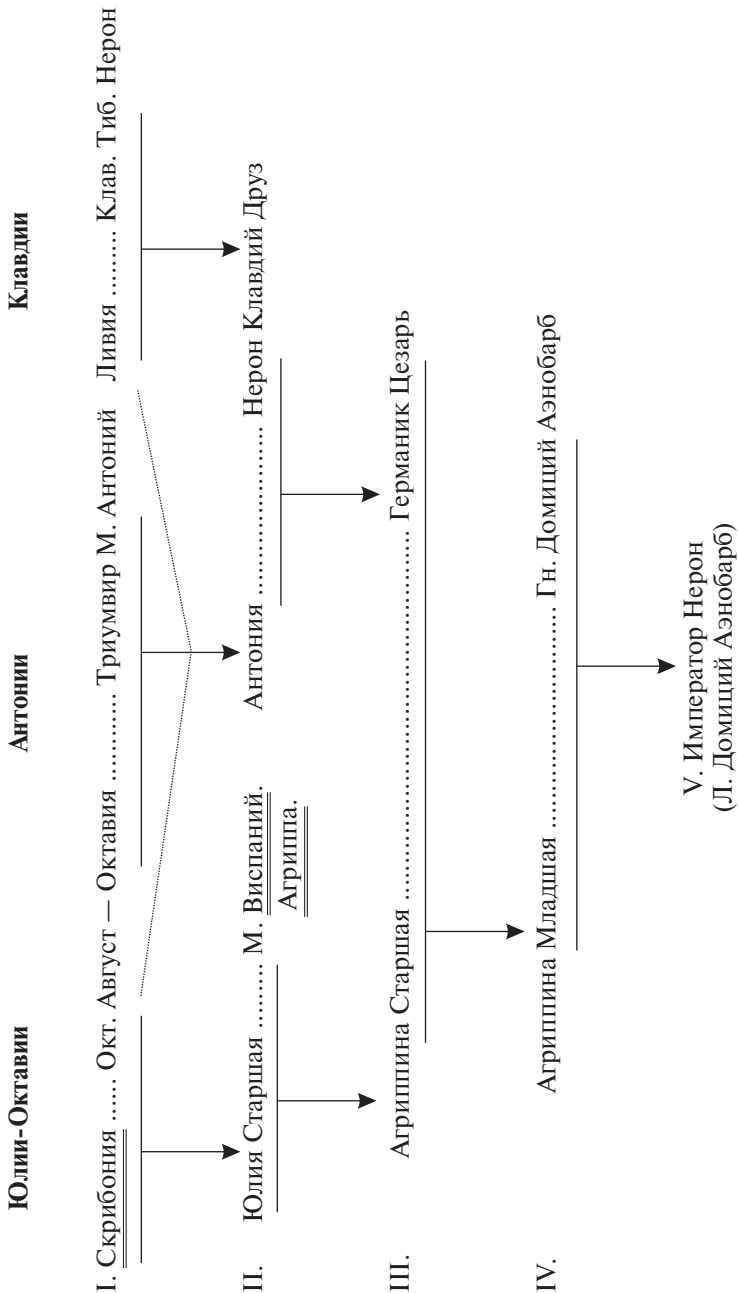
Собственно говоря, даже не четырех, но пяти фамилий, но считаю четырех потому, что, хотя Октавии утопили свою фамилию в более блестящем и завидном имени Юлиев, последние имеют к Юлио-Клавдианской династии кровное отношение только по женской линии. Основатель династии — Октавий Август — сын последней женщины-Юлии, сестры Юлия Цезаря Диктатора, который был последним мужчиной-Юлием. Племянника своего, Октавиана, он сделал Юлием через усыновление. Кровь истинных Юлиев истребилась за 124 года до гибели последнего Юлия-Клавдия, т.е. цезаря Нерона.

Кровная наследственность Нерона в прямых степенях родства с материнской стороны выражается нижеследующей таблицей.

Из таблицы этой явствует, что император Нерон был

- ПРАПРАВНУКОМ:** Октавия Августа Цезаря, жен его: Скрибонии и Ливии, сестры его Октавии, триумвира Марка Антония и Тиберия Клавдия Нерона, происходивших из пяти фамилий по имени, из четырех по крови;
- ПРАВНУКОМ:** Юлии Старшей, Антонии Младшей, Нерона Клавдия Друза и (новая, привходящая кровь) М. Випсания Агриппы, происходивших из трех фамилий;
- ВНУКОМ:** Юлии Агриппины Старшей (смешанная кровь Юлиев и Випсаниев) и Германика Цезаря (смешанная кровь Юлиев — Антониев — Клавдиев);
- СЫНОМ:** Юлии Агриппины Младшей (второе поколение смешанной Юлио-Клавдианской крови) и Гн. Домиция Аэнобарба, принца, связанного с потомством Августа тоже весьма близким родством.

Среди названных имен, большинство принадлежит людям, высоко одаренным умственными способностями, талантливыми, а в некоторых случаях даже нравственной силой.



(Имена, соединенные горизонтальной чертой, — братья и сестры. Имена, соединенные точками, — супруги. Имена, соединенные вертикальным знаком T, — родители и дети. Двойная черта обозначает принадлежность к роду, чуждому Юлиям, Антониям и Клавдиям.)

II

Из прапрадедов Нерона, Юлий, то есть принцепс Гай Октавий Цезарь Август (р. 23 сентября 691 г., ум. 19 августа 767 г.), создал конституцию римского принципата и диархическое правительство. Подвиг колоссальный, деятельность гениальная. Однако Август, казалось бы, не принадлежит к числу тех экстаических, вдохновенных гениев, чей необычайный нервный подъем и напряжение мыслительной энергии Ломброзо и его школа провозгласили счастливой изнанкой безумия, и наследственность от которых, как многократно доказано историческими примерами, действительно, небезопасна для их потомства, обязанного расплачиваться за блестящую одаренность своего предка быстрым вырождением. Август — деятель ума обширного, плоского, твердого, но холодного, души умеренной и аккуратной. Практическая житейская логика здравого смысла заменяла ему богатство идей и широту взглядов. Отлично управляя самим собою, счастливый на дружбы с талантливыми людьми, мастер приспособляться, он выработал из себя великого человека с будничной физиономией. Фаталист и суевер по настроению, буржуа по наклонностям, редкий талант «чувства меры», он не заносился на фантастические высоты ни в государственных планах, ни в личных страстях. Легенды о его половых пороках и даже о кровосмешении с дочерью, с злорадным удовольствием поддержанные Вольтером, весьма маловероятны. Август — не буйный строптивый грешник, вроде хотя бы своего главного политического врага и соперника, знаменитого триумвира Марка Антония. Он — разве, втихомолку, греховодник. Открыто же Август всегда являл себя ревностным поклонником и суровым блюстителем самой узкой буржуазной морали и вряд ли притворно ханжил. Жестокости Августа едва ли можно приписать природной кровожадности; скорее они были плодами трусости: внук провинциального ростовщика, неожиданно попавший в повелители вселенной, в трепете самоохранения, старался укрепить свое величие и огрadyть спокойствие, сокращая, как можно усерднее, ряды опасных ему и подозрительных лиц. По меткому определению Бёлэ (Beulé), Август — Нерон в обратном порядке: начал тем, чем Нерон кончил, и кончил тем, чем Нерон начал. Чем тверже становилось положение Августа, тем мягче делался его режим, и, в конце концов, он не только остался в памяти народной с именем доброго и желанного государя, но еще имя его сделалось священным эпитетом высшей государственной власти, привязалось, как титул, ко всем царственным фамилиям европейского мира. Когда мы читаем в придворной хронике: «августейшие дети», «августейшая супруга», «августейшая вдова», либо в министерском отчете: «августейшие намерения», «августейшие предначертания», — мы так же далеки от воспоминаний о счастливом римском узурпаторе, как не дает их нам и месяц август, которым, тоже в честь его, сменился в календаре латинском прежний *Sextilis*. Некоторое лицемерие запоздалой благодати Августа не могло укрыться

от современников. Известно, как смело сдерживал злые порывы Августа Меценат. В близком поколении потомков, философ Сенека, с откровенной резкостью, объяснял милосердие Августа переутомлением его в жестокости. Физически Август был человек малорослый, слабый, часто болел, припадал на левую ногу, выдержал два тифа и множество горловых болезней, по малокровию не терпел ни жары, ни холода, мучился лишаями и, как остроумно доказывает Якоби, нервным поражением руки, известным под именем писцовой болезни, *chorea scriptorum*, *la crampe des écrivains*.

О личном характере Тиберия Клавдия Нерона (ум. в 719) мы не имеем подробных сведений. Веллей Патеркул называет его «человеком остроумным и ученым». В течение междоусобий — от Фарсальской битвы до Акциума — этот Клавдий успел послужить едва ли не всем политическим партиям, а когда Октавиан остался победителем, купил его милость, уступив ему свою жену, Ливию Друзиллу (в 716). Фамильный же характер Клавдиев, древнего сабинского рода, знаменитого своей исконной борьбой с демократическими течениями республики, был не из приятных. Анний Клавдий, децемвир, прославленный известным эпизодом бесчестия и смерти Виргинии, фигура типическая для всего рода. Большинство Клавдиев — люди мрачные, жестокие, надменные своим родословием, влиянием, богатством, хотя, вместе с тем, очень даровитые. Аристократические роды римской республики были, вообще, не бедны крепкими и жестокими характерами, но даже в их суровой среде Клавдии выдавались стойкостью и силой воли и, однажды намеченные себе, честолюбивые цели преследовали с упрямством фанатическим. «Фамилия необычайно гордая и лютая ненавистница простого народа» — определяет Клавдиев Тит Ливий. «Исконное и закоренелое свойство фамилии Клавдиев — гордость», подтверждает, слишком сто лет спустя, Тацит. Жена Тиберия Клавдия Нерона, Ливия Друзилла, которую он уступил Августу, по крови, должна считаться принадлежащей также к *Gens Claudia*, потому что отец ее был рождением Клавдий, а Ливием Друзом стал через усыновление. Женщина эта — впоследствии, в качестве вдовствующей государыни, почтенная титулом Юлии Августы — открывает собой ряд женщин-политиков, столь многозначительных в дальнейшей истории принципата. Она отличалась необычайно острым умом, редким супружеским и государственным тактом и тончайшим талантом к дворцовой интриге. «Улисс в юбке» — *Ulixes stolatus*, — называл ее, много лет спустя, лукавый безумец, Гай Цезарь (Калигула). Ливии удалось выйти победительницей из династической борьбы за принципат против такого властного, хитрого и ловкого политика, как муж ее, принцепс Август. Исключительно ее усилиями и вопреки личным симпатиям Августа, наследие римского принципата пошло, по смерти его основателя, не в кровную прямую линию нисходящих Юлиев, но по линии усыновленных Клавдиев, детей Ливии от Тиберия Клавдия Нерона. Выполняя свои планы, Ливии, по-видимому,

пришлось перешагнуть через много преступлений. Ей приписывают тайные убийства нескольких принцев Юлиев и, в том числе, даже самого Августа. Преступность Ливии во всех этих случаях не доказана и даже всегда или мало вероятна, или вовсе невероятна. Но уже самое упорство, с каким народная молва обвиняла Ливию в каждом несчастии Юлиев, — характерное свидетельство всеобщей антипатии к ней, как к типичной клавдианке, со всеми недостатками ее чванного, угрюмого, свирепо-безнравственного дома. Но, опять-таки, и эта великая интриганка — не из тех пылких, своенравных, отчаянных и в преступлении, и в сладострастии, грешниц, которых поведение должно требовать объяснений психической аномальностью. Ливия — не Мессалина, не Лукреция Борджиа. Ливия славилась как женщина холодного темперамента и в обоих браках, очень покладистая и равнодушная супруга, совершенно лишенная порока ревности. Очень красивая смолоду и здоровая весь век, она прожила до глубокой старости, скончавшись в 782 г. (29 по Р. Х.), восьмидесяти шести лет от роду.

Из остальных женщин того же поколения, Октавия, сестра Августа, известна как образец семейных и личных добродетелей, светлого и кроткого ума, твердого и выносливого характера. Сенека ставит ей в упрек чересчур уж сильное огорчение потерей любимого сына, Марцелла, от Клавдия Марцелла: отчаянием своим Октавия даже оскорбила несколько и оттолкнула от себя других детей. Конечно, скорбь матери, утратившей своего первенца, естественна и священна, с какой бы страстностью она ни изливалась. Однако мастерское изображение отчаянной Октавии у Сенеки дает картину какого-то даже нечеловеческого, стихийного горя. Конец жизни Октавия провела в ожесточенном одиночестве, ненавидя людей, а в особенности матерей, окруженная ручными зверями и садками с драгоценной, ручной же, рыбой. Любопытно, что, по смерти Октавии, явился самозванец, выдавший себя за ее сына, якобы подмененного, «по причине его слабого здоровья», чужим младенцем, но тайно воспитанного добрыми людьми: обычная схема подобного самозванства. По-видимому, он имел некоторый успех. «Эта ложь одновременно угрожала зачеркнуть в наиболее священной из фамилий римских память об одном из истинных кровных членов ее и осквернить ее священный очаг нечистой примесью чуждой крови» (Валерий Максим). Август сослал самозванца в каторгу, на галеры. Наказание до странности мягкое, в веке, когда по пустыкам летели прочь головы, — особенно если принять во внимание щекотливость преступления для молодой династии. Притом, по свидетельству Валерия Максима, приказ об аресте самозванца был выдан лишь, когда «его дерзость не знала более границ». Кто был самозванец, — осталось неизвестным.

Скрибонию, дав ей развод, Август обвинил в разврате. Но кажется, вина ее заключалась только в том, что она, — хотя замужем за Августом уже по третьему браку, — не была терпелива, как ее преемница Ливия, и не желала смотреть сквозь пальцы на любовные шашни суп-

руга. Известны два-три очень хороших и сердечных поступка Скрибонии. Когда Август сослал свою и ее дочь Юлию на остров Пандатарю, Скрибония добровольно последовала за изгнанницей. Она же выкупила из рабства и отпустила на волю одного почтенного литератора, по имени Афродизия. Судя по этим данным, первая супруга Августа была совсем не дурная женщина, и поэт Проперций не льстил ей, назвав ее в молодости «милой личностью», *dulce carum*, а философ Сенека, в старости, «почтенной особой», *gravis femina*. Двоюродный внук Скрибонии, Друз Либон, заговорщик против Тиберия-Цезаря, советовался с бабкой, ожидать ему приговора или покончить самоубийством. — «Э! что за радость брать на себя чужую работу!» — возразила внуку скептическая бабка. Для века Скрибонии, здравомыслие — не совсем обыкновенное.

Остается в поколении прапрадедов триумвир Марк Антоний: едва ли не самая романтическая фигура всей римской истории, потомок Геркулеса, сам мощный и неистовый, как Геркулес. Характер его, гениально освещенный Плутархом и Шекспиром, слишком хорошо известен, чтобы надобно было много о нем распространяться. Великий воин и великий развратник, алчный грабитель и бессчетный мот, хитрейший дипломат и грубый пьяница, то герой, то шут, то рыцарь несравненного великодушия, то свирепый палач, — Антоний — образец натуры высокодаровитой, часто вдохновенной, но зыбкой в нравственных устоях и не способной к этической дисциплине. От юности тщеславный, самодур, фантазер, эксцентрик, всегда готовый среди самого серьезного и важного дела вдруг прорваться каким-либо детски взбалмошным дурачеством, он испустил свои пороки огромной политической и военной талантливостью. К старости он спился с круга, обабился под башмаком пресловутой Клеопатры, царицы Египетской, и потерял всякое подобие характера. Таланты померкли, — остался старый деспот-алкоголик, одержимый бешеными капризами, безвольная и опасная игрушка в руках дрянной женщины, умевшей заставить его проиграть мировую ставку в битве при Акциуме. Красивое и трогательное самоубийство Антония (724) явилось логическим исходом его бурной и, в конце концов, бесплодно для него и вредно для государства разменявшейся жизни. Вопреки всем пятнам на исторической репутации Антония, этот грешный богатырь остался симпатичен потомству, как широкая, титаническая натура, в которой и зло, и добро, и порок, и доблесть, и гений, и безумие били одинаково искренним и могучим ключом. Любопытно, что свое жизнеописание Антония Плутарх заключает указанием на прямую родословную связь между триумвиром и принцепсом Нероном: великий историк-психолог как будто хотел намекнуть, что буйная, неугомонная кровь древнего Антония не без греха в странностях потомка, «безумие которого едва не погубило римского государства».

III

Следующее поколение предков, то есть прадеды и прабабки Нерона, считает в числе своих представителей М. Випсания Агриппу (ум. около 19 марта 742 г., 51 года от рождения), — замечательного полководца и администратора, которому город Рим был обязан своим благоустройством, а принципат римский своим укреплением, — чуть ли не в той же мере, как самому Августу. Человек невысокого происхождения, новичок в знати, Агриппа, конечно, мог бы «освежить породу», когда Август призвал его (733 г.) стать супругом своей единственной дочери Юлии (Старшей, — на медалях, Юлии Афродиты), — женщины очень острого, живого, литературно образованного ума, но легкомысленной и распутной. Историческая клевета долго приписывала Юлии любовную связь даже с родным отцом — Августом Цезарем. Нынешние историки, опровергая эту сплетню, предполагают источник ее в полоумном чванстве императора Гая (Калигулы): демократический дедушка, солдат Агриппа, был не по вкусу тщеславному живому богу Палатина, и он объявил себя дважды правнуком Августа — и по отцу Германику, и по матери Агриппине, предпочитая обвинить своих прадеда и бабу в самом тяжком кровосмешении, чем слыть законным внуком выскочки. Но даже отрицая сказку о кровосмешении, необходимо признать, что разврат Юлии, засвидетельствованный древними историками, отличался каким-то нагло-вычурным характером, вызывающей страстью к огласке, жаждой скандала, болезненным задором посмеяться над общественным мнением и приличием. Кошунственная прихоть выбрать местом для любовных свиданий ростру — государственную трибуну римского Форума — вряд ли могла бы прийти в голову женщине, которая не пьяница и не истеричка. По энергической характеристике Веллея Патеркула, Юлия «измеряла высоту своего положения своевольством делать мерзости, почитая позволительным для себя все, что только подсказывал ей каприз». Тем не менее дети Юлии — не только законные, но и действительные плоды ее брака с Агриппой. Своим сходством с отцом они поражали любопытных, знавших нравы принцессы. У Макробия сохранился анекдот, будто Юлия однажды, на вопрос о том, цинически сострила:

— Я — как корабли: не принимаю пассажиров, покуда не взяла балласта.

То есть — распутничаю, только застрахованная супружеской беременностью от возможности плода со стороны. Обычная система нынешних парижских веселящихся буржуазок. Дам, распутничающих по правилам Юлии, в Париже считают даже не развратницами, но просто милыми шалуньями, «почти верными» супружескому долгу. Юлия Старшая имела много детей, но мало их выжило до взрослости, а остальные были жестоко несчастны в жизни и не только от людей, но и как жертвы вырождения, сказавшегося в одних ужасны-

ми характерами, в других слабоумием. «Чрево этой женщины не принесло ничего доброго ни для нее самой, ни для республики», — выразительно характеризует Юлию историк Веллей Патеркул.

Сообщником скандалов Юлии Старшей был сын Марка Антония Триумвира, Марк Юлий Антоний, от первого брака триумвира с пресловутой «злой» Фульвией, героиней гражданских войн, солдат-бабой, дочерью взбалмошного и свирепого Клодия, ненавистницей Цицерона. М.Ю. Антоний — бесшабашный прожигатель жизни, талантливый поэт, мечтатель, — портрет отца и, как отец, вынужденный самоубийца. Сводные сестры его — от Октавии — Антония Старшая (р. 715) и Антония Младшая (р. 718), на медалях Антония Августа, — наследовали больше нравственных черт от матери, чем от отца. Обе — женщины порядочные, благовоспитанные и очень взыскательные в вопросах семейной чести. Вторая из них — замужем за Нероном Клавдием Друзом — была как бы преемницею Ливии по репутации, а отчасти и по влиянию, — по значению и авторитету «женщины с государственным умом». Она — родоначальница «крови Германика», много способствовала его возвышению и умерла семидесятишестилетней старухой (792), имев перед смертью удовольствие и несчастье видеть Германика-сына, Гая Цезаря Калигулу, принцепсом Римской республики.

Нерон Клавдий Друз Германик — сын Ливии от Тиберия Клавдия Нерона, рожденный ей три месяца спустя после того, как Август отнял ее, беременную, у первого мужа. Якоби считает его сыном Августа, что очень облегчает ученому этому дальнейший разбор наследственных передач в династии Цезарей. Оно соблазнительно и не совсем невероятно, но сильных и прямых доказательств за себя не имеет. Друз Старший — опять большой военный талант и очень хороший, всеми любимый человек, достойный супруги Антонии Младшей, о которой только что шла речь, не в обычай Клавдиям, либерал, чуть ли не тайный республиканец. Думали, что только ранняя смерть помешала ему «восстановить республику». Необходимо отметить, что он был галлюцинат, и из многочисленных детей его достигло зрелого возраста только трое: блестящий полубог Тацита, Германик, *divus* *Germanicus*, болезненно развратная Юлия Ливилла и полуидиот Клавдий. Старший брат Друза, также усыновленный Августом (род. 16 ноября 712 г.), открывает собой печальную и грозную галерею типов быстрого вырождения, последовательной сменой которых полна отныне вся, почти без исключений, история рода Клавдиев. Государственная и военная талантливость Тиберия, острый ум, полный какого-то особого скептического здравомыслия, глубокое знание людей, аристократическое презрение к внешним формам власти при паразитическом умении выгодно распорядиться ее действительными прерогативами, давно уже поколебали старинный исторический взгляд, выдавший в наследнике Августа, с слепым доверием к Тациту и Све-

тонию, мелодраматического злодея ради злодейства, адскую смесь Людовика Одиннадцатого с маркизом де Сад. Почин тому положил Вольтер, вообще нанеший не мало ударов непреложному авторитету Тацита. Следы их не позабылись до сих пор и время от времени откликаются появлением во Франции таких, например, скептиков, как П. Гошар. Он, путем экзегезы, дошел до отрицания подлинности самой летописи Тацитовой и объявил ее романом XVI века, принадлежащим перу известного гуманиста Поджио Браччиолини. Наш всегда проникновенный Пушкин, один из первых в Европе, подверг критике памфлетическое отношение Тацита к Тиберию и, со свойственной ему художественной прозорливостью, усмотрел, сквозь черные отрицательные краски античного портрета, много положительных и даже симпатичных черт. За последние 30—40 лет историческим оправданием Тиберия усердно занимаются немцы: Штар, Сиверс, Фрейтаг, из французов Дюрюи. Однако положительные стороны в личности Тиберия только ярче оттеняют его общую психическую аномальность. Уже смолоду мизантроп, ипохондрик, — к тому же запуганный и утомленный интригами двора Августа и Ливии почти до мании преследования, — оскорбленный муж распутной Юлии Старшей, которую ему навязали насильно и которую он ненавидел настолько, что объявил голодовку, если не выпустят его из каторги брака этого, — суеверный эгоист и потаенный развратник, — Тиберий сделался страшен в старости. Ехидной, мелочно-язвительной, холодно-расчетливой свирепости его посвящены ужаснейшие страницы Тацита; откровенно-грязному, извращенному разврату — ужаснейшие страницы Светония. Богатырское телосложение позволило Тиберию, вопреки болезням и излишества, дожить до 77 лет (ум. 16 марта 790 г.), но последние свои годы он провел несомненно душевнобольным, изжив и огромный ум свой, и тело, пройдя через мытарства самых разнообразных нервных и психических поражений.

IV

Перейдем в следующее поколение, то есть к детям Агриппины от Юлии, Друза от Антонии, Тиберия от Випсании: к родным, двоюродным и т.д. дедам и бабкам императора Нерона.

Потомство Агриппины и Юлии Старшей, в мужской половине его, не успело вызреть. Цезари Гай (734—757) и Люций (737—755) скончались слишком молодыми, — как ходила молва, умерщвленные агентами Ливии. Оба юноши, однако, успели получить репутацию молодых людей «с опасным настроением ума», то есть с дурным психическим предрасположением или, как доказывает Якоби анализом биографии Гая, с склонностью к нравственному помешательству (*l'Idiotie morale, moral insanity*). Третьего брата их, Агриппу Постума (742—767), отстраненного от наследства в принципате в пользу Тиберия, Тацит

рисует человеком диким, невеждой и глупцом, непомерно кичившимся своей богатырской силой. Из женского потомства, Юлия Младшая (ум. 781) повторила распутства своей матери. Наоборот Агриппина Старшая, супруга Германика Цезаря, родная бабка императора Нерона, искони прославляется, со слов Тацита, как хрестоматийный образец всех семейных и гражданских добродетелей, приличествующих честной женщине и высокородной принцессе. Но едва ли добродетелей и доблестей не было у нее уж чересчур много. Пред нами — женщина болезненно-гордая, честолюбивая, властная, заносчивая, со строптивым характером вспыльчивого мужчины, с вызывающей храбростью ветерана, закаленного в боях, с умом политика, хотя и не слишком острого и глубокого, но все-таки лишь ошибкой природы одетого в юбку. Суровый пуризм ее, по-видимому, не был естественным, но сложился как плод энергической борьбы нравственных убеждений с темпераментом, чрезвычайно страстным по природе, но нашедшим себе счастливый выход в привязанностях супружеской и материнской. Неудивительно быть верной женой, — справедливо отмечает Якоби, — женщине, которая к 26 годам успела народить 9 человек детей. Тацит, панегирист Агриппины и создатель ее славы, не скрывает, что принцесса далеко не всегда легко сносила благородное бремя своего вдовьего воздержания. Что касается высокой репутации Агриппины, как примерной матери, удивительно, как могла она сложиться в поколениях, имевших горе знать ее свирепых и безнравственных детей, между которыми не было ни одного сколько-нибудь приличного человека, ни одной, хотя бы относительно, честной женщины. Ранняя утрата мужа, свирепая вражда Тиберия, многолетняя борьба за свое и детей своих существование, завершенная трагической гибелью двух любимых сыновей Агриппины и тяжелой ссылкой ее самой, довели несчастную принцессу, уже по природе мнительную, до преувеличенной подозрительности, отдалившей от нее друзей, озлобившей оскорблениями ее властных врагов и весьма похожей на манию преследования. Она умерла в ссылке на острове Пандатарии (18 октября 786 г.), страшно несчастная, совершенно одинокая и, по-видимому, сама оборвала опостылевшую жизнь, уморив себя голодом.

В потомстве Друза и Антонии блестяще удался родной дед императора Нерона, знаменитый полководец Германик Цезарь (*divus Germanicus*): прекрасная душа в прекрасном теле, любимец и надежда народа, слишком рано погубленный придворной интригой (ум. в 772 г.). Якоби подверг панегирические страницы Тацита строгой критике, в результате которой доблести Германика значительно блекнут, и оказывается он вполне плотью от плоти и костью от кости жестокого рода своего. Это так, но Якоби не учел относительной исторической морали, в области которой должны мы жить, изучая Цезарей, — и, следовательно, ею, а не уровнем нынешних этических требований мерить

их характеры. Нет никакого сомнения, что, как солдат и государственный человек, Германик мог быть и коварен, и жесток, и жаден, и нет никаких причин, чтобы внук триумвира Антония, — а, может быть, и другого триумвира Октавиана (как подозревает Якоби), — сын и потомок Клавдиев, вышел ни с того, ни с сего каким-то ангелоподобным выродком. Но дело-то в том, — и этого никак нельзя отрицать, — что, при всех своих недостатках, плодах своего происхождения и века, Германик носил на себе редкую тогда печать природы истинно этической: склонной к самопознанию, самовоспитанию, к борьбе с собой и победе над собой в пользу интересов общества и человечества. Это был человек, в котором его современность инстинктом чувствовала гнездо силы, может быть, смутной, но лучшей и наиболее прогрессивной, какую она смогла породить. Человек, на которого век имел право показывать с гордостью и надеждой: вот кого я выработал, в чьи руки перейдет руководство мировым государством. Германик, повторяю, мог иметь множество пороков, да еще и не обладал сильным характером, попадал под влияния, способен был теряться в трудные минуты и т.п. Но этот человек, по крайней мере, знал, что существует на свете понятия общественного блага и человеческого достоинства; пожалуй, даже знал, как должны они проявляться в современном ему обществе, как могут быть согласованы с господствующим государственным строем; знал — и уважал их силу и благо. И общество тоже знало, что он и знает их и хочет их, и, в благодарность за то, обожало Германика, так сказать, в кредит. Настолько, что мало сказать, — не хотело замечать недостатков его, — просто, они современникам и в мысль не приходили, — пятна исчезали в сиянии солнца. Насколько твердое этическое самосознание и уверенная теория морали были дороги веку, нам вскоре покажет другая фигура, очень схожая с Германиком, — Германик штатский, Германик в тоге: Л. Анней Сенека. Если век не заметил, не хотел заметить в принце Германике природной жестокости и прочих пороков, которые легко открывает, через объектив девятнадцати веков, Якоби, то философу и моралисту Сенеке век простил безобразную холопскую покладливость придворного, трусость и зыбкость политического борца, жадное корыстолюбие, двуличность, — множество пороков и грехов личности, хотя все их прекрасно видел, замечал и порой едко бичевал. Простил, потому что чувствовал, что пороки и грехи Сенеки — от него, от века; но есть в Сенеке нечто особое, прекрасное, что тоже из него, века, выделилось, но уже будущему принадлежит, в будущее идет и является пред судом будущего защитительным словом и испугательной жертвой за него, страшный век свой, — почти единственным словом, почти единственной жертвой. Подобно Сенеке, Германик — воплощение этического начала эпохи своей, напоминание и воображение этического идеала. Недаром же, когда умер Германик,

многие, совершенно чуждые ему, люди в Риме убивали себя, находя, что дальше жить не стоит — не во что верить!

Но сестра Германика, Ливилла, — типическая принцесса-протитутка, каких во множестве выращивал тогдашний Палатин, — отравила своего мужа. А брат, впоследствии Клавдий Цезарь (р. 1 августа 744 г., ум. 13 октября 807 г.), даже материнскому глазу был противен, как некое «недоконченное чудовище»: заика, косолапый, вечное и всеобщее посмешище. «Глуп, как мой сын Клавдий», — такова была сравнительная мерка-поговорка у Антонии. Мнения современной исторической критики о Клавдии расходятся между собой довольно пестро. Одни считают его дураком от рождения и злейшим срамом всей истории принципата, доставшегося ему насмешкой счастливого случая. Другие, как Мишле, основываясь на многих дельных политических и административных мероприятиях его правления, склоняются к предположению, что Клавдий тенденциозно оклеветан летописями и историками, ближайшего к нему и враждебного ему, Неронова принципата, а в действительности был гораздо лучше своей трагикомической репутации. Особенно усердны в оправдании Клавдия французские историки, что показывает в них благодарную память. «Клавдий, — говорит Амедей Тьерри, — был воистину отцом провинций». Рожденный в Лионе (Lugdunum), воспитанный среди народов Галлии, он с ранних лет возлюбил край этот, который он впоследствии облагодетельствовал столькими доказательствами своего расположения, и который, как можно думать, значительно повлиял на его отношения к провинциям вообще. Не пренебрегая Грецией и восточной частью государства, Клавдий, главным образом, занялся Западом — тем Западом, который справедливо казался ему наиболее способным принять вглубь свою быструю и мирную романизацию, и вскоре стал новым, всеевропейским Римом. Он усовершенствовал организацию галльских провинций, замершую было после кончины Августа. Он насадил в Британии, западный и южный берег которой он же, Клавдий, завоевал, первые начатки цивилизации и римской речи. Историки хвалят Клавдия за его усердие к распространению общегосударственного языка. Дион Кассий рассказывает, что он считал знание латинского языка обязательным для римских граждан и лишал звания тех из них, кто не умел отвечать ему по-латыни. «Нельзя быть римским гражданином, — говорил он, — не зная языка, на котором говорят в Риме». Но, в то же время, этот романизатор открыл инородцам, в представительство Галлии [Косматой] (Gallia Comata), право доступа к высшим государственным должностям в Риме и, проводя этот закон, умел одолеть сильнейшую оппозицию не только сената, но даже и своей дворцовой камарильи, у которой вообще-то он ходил на поводу, как послушная, замунштученная лошадка. Речь Клавдия по этому поводу полна здравых мыслей, многие из которых, даже и в наш век, не потеряли своего значения и не лишними прозвучали бы

с иных, парламентских или поддельных под парламент, трибун. Клавдий говорил:

— Я буду руководиться в управлении государством примером предков. Родоначальник мой Атт Клавз был сабинского происхождения. Однако, он был единовременно принят и в римское гражданство, и в семью патрициев. Юлии вышли из Альбы, Корункации из Камерия, Порции из Тускулума. Да — что нам рыться в древности? — одним словом: древний сенат принимал в среду свою вельмож Этрурии, Лукании и других итальянских земель по мере того, как римский народ раздвигал Италию до Альп, покада не объединил ее всю. Это убеждает меня подражать старине, привлекая в нашу корпорацию всех лучших людей, которых на пути своем встретит растущий Рим. Разве нам приходится сожалеть о том, что стали нашими испанцы Бальбы и знать Нарбонской Галлии? Потомки их — римляне, как и мы, не уступят нам в патриотизме. Отчего погибли Лакедемон и Афины? Оттого, что, будучи достаточно сильными, чтобы побеждать, они не умели обращаться с побежденными и оставляли их на положении чужеземцев. Не так поступал основатель нашего государства, мудрый Ромул: многие народы, которые поутру были врагами Рима, к вечеру, замирившись, становились его гражданами. Мне напоминают галльские войны: сенноны — Рим брали, галлы — наши вчерашние враги. Как будто мы никогда не сражались ни с вольсками, ни с эквами, не давали заложников тускам и не сдавались на капитуляцию самнитам! «Уже соединенные с нами нравами, искусством, родством, пусть они (галлы) лучше принесут к нам свое золото и богатство, чем пользуются им отдельно от нас! Все, почтенные сенаторы, что теперь считается очень старым, было ново: после патрицийских магистратов явились плебейские; после плебейских латинские, после латинских магистраты из других народов Италии. И это (предлагаемое дарование магистратных прав галлам) со временем делается старым, и то, что мы сегодня подкрепляем примерами, само будет в числе примеров». (Тацит. Летопись. XI. 24. Пер. В.И. Модестова.)

Идиотическую репутацию, несомненно сопровождающую Клавдия в летописях трех основных историков, А. Тьерри относит на счет памфлетов, которыми мстила Клавдию аристократия, оскорбленная его симпатиями к провинциям, либеральным взглядом на иностранцев и корыстными злоупотреблениями на этой почве дворцовой камарильи: Мессалины и вольноотпущенников. «Я не имею намерения оправдывать все, что творилось вокруг этого государя, часто слишком слабого и как бы слепого, но полагаю, что обвинения, на него взводимые, громадно преувеличены. Ведь ни один из цезарей не был так суров, когда дело шло об охране чести римского гражданства». Действительно, Светоний свидетельствует, что за самозванство римским гражданством, Клавдий рубил peregrinam головы на лобном месте Эсквилинского холма.

Как бы то ни было, нельзя не поверить слишком дружному летописному свидетельству, что у плачевного государя этого было в голове не все благополучно, и, что, за исключением немногих случаев жизни, он, и в домашнем своем быту, и в общественном представительстве, являл собой фигуру не только жалкую, но и противную. Слабохарактерный и свирепый, чудака-педант, буквоед-археолог и горький пьяница, редкий образец хорошей памяти научной и справочной адвокатской, но в то же время прямо чудовище житейской рассеянности, — Клавдий прожил жизнь невольным шутом, клоуном на троне, неистощимым источником насмешек и пикантных анекдотов для подданных, двора и собственной семьи. Как государь, Клавдий, по картинному выражению Шампаньи, всегда и неизменно играл роль ручного слона, которого корнаки-вольноотпущенники направляли, куда хотели. Последние годы Клавдия достойны занять место в клинической летописи душевных болезней, как замечательно точный и последовательный пример старческого слабоумия.

Наконец должно упомянуть здесь, — хотя и в отдаленной степени Неронова родства, — Друза Цезаря (Младшего), кузена и друга Германикова, сына Тиберия от Випсании (739—776). Обладая блестящими способностями как воина, так и государственного человека, Друз отличался, однако, зверской жестокостью, чересчур увлекался гладиаторскими боями, любил видеть кровь, текущую из ран, высокомерно обращался с сенатом и, в свободное время, кутил в Риме так разнузданно, что отец нарочно придумывал для него дипломатические и военные поручения, чтобы занять сына делом и сбить из столицы. Якоби защищает репутацию Друза, как оклеветанную в интересах Германика, но, правду сказать, усердствует без особой к тому нужды, так как яркой талантливости и сравнительной общественной порядочности этого принца историки не отрицают, а буйства и распутства его не представляются невероятными и необычайными, ни в общественности, ни в наследственности, которых он был результатом.

V

Брак Германика и Агриппины Старшей был благословлен детьми весьма обильно, но более чем несчастно. Из сыновей их, родных дядей императора Нерона, двое лучших были погублены кознями Сеяна, знаменитого Тибериева временщика. Однако из них двоих, нравственно здоровым человеком можно считать, пожалуй, лишь старшего, — честолюбивого красавца Нерона Цезаря (ум. 784). Младший, Друз Цезарь (ум. 786), содействовал интригам Сеяна против старшего брата, по зависти к его положению в семье и к успехам в государственной карьере. Ходили слухи, будто он осквернил свое тело противоестественным развратом, играя роль женщины. Правда, обвинение это, исходя из уст заклятого врага Друза, Тиберия Цезаря, могло быть и

клеветой; но третий брат его, Гай Цезарь, потом император, более известный под кличкой Калигулы, действительно, был предан подобному же пороку и гласно в том обличен. Историческая репутация Калигулы слишком хорошо известна. Из числа, прославленных жестокостями и развратом, государей Рима, едва ли не все, не исключая Тиберия, Нерона, Домициана, нашли себе защитников и апологетов в конце девятнадцатого века, когда веяния империализма последовательно овладевали Францией Наполеона Третьего, Германией Бисмарка, Англией престарелой Виктории. Объединительный процесс германской империи особенно внушительно влиял на работников исторического знания, искушая их к реабилитации цезарей мотивами не столько научными, сколько политическими: тенденцией отстоять цезаризм, как союз и слияние демократии с монархией. Но, кажется, даже между историками-цезаристами не нашлось покуда ни одного охотника очистить память Гая Цезаря (р. 31 августа 765 г., ум. 24 января 794 г.) от тяготеющих на ней обвинений. Напротив, еще лет пятнадцать тому назад, память римского безумца послужила в Германии материалом для научного памфлета «Калигула», быстро исчезнувшего из продажи, так как в герое брошюры этой кайзер Вильгельм II имел наивность узнать самого себя. Гай Цезарь был несомненно сумасшедший, одержимый маниями величия и преследования, меланхолик с буйными припадками, и очень хитрый и остроумный в светлые промежутки. Страдал он и падучей болезнью.

Дочери Германика Юлия Друзилла (770—791) и Юлия Ливилла (771—796) жили открыто в кровосмесительной связи с братом своим Гаем Калигулой, в чем, по всей вероятности, не безгрешна осталась и третья сестра, то есть Агриппина, мать императора Нерона. По крайней мере, Светоний, обвиняя Калигулу в сожительстве с сестрами не делает в пользу Агриппины выключающей оговорки. Впрочем, что касается Агриппины, то, даже помимо постыдного подозрения, брошенного на нее Светонием, она наполнила свою сравнительно недолгую жизнь (769—812) таким трагическим хаосом властолюбивых интриг, кровавых преступлений и расчетливого разврата, что наследственность от нее не могла сулить сыну ее Нерону ничего доброго.

В заключение не лишним будет указать, что, уже в самом поколении императора Нерона и после его рождения, зловещий список его порочной родни увеличился еще двумя именами — эпилептика Британика (794—808) и меланхолички Октавии (795—815), — детей, в ту пору уже бесспорно слабоумного, пьяницы Клавдия и пресловутой Валерии Мессалины (ум. 801), безудержной нимфоманки, имя которой, обратясь в исторический синоним бесстыжей развратницы, стяжало незавидную вечную память.

В числе переименованных выше лиц, как мужчин, так и женщин, не насчитать и десяти умерших, несомненно, естественной смертью. Жизнь остальных прекратили кинжал, яд, веревка, голодная и холод-

ная тюрьма, тяжелая ссылка, вынужденные и добровольные самоубийства. Всего же фамилия Цезарей, от Гая Юлия Цезаря Диктатора (ум. 719) до конечного пресечения рода в лице маленькой Клавдии Августы, дочери Нерона (ум. 816), имела в родстве и ближайшем свойстве сто девять членов. Насильственная смерть постигла из них тридцать девять — более одной трети.

Несмотря на множество признаков психического вырождения, жизненная энергия расы Цезарей еще не иссякла. Из трех основных фамилий, слившихся в доме Августа, угасла совершенно одна — Антонии; последний представитель, Люций Антоний, сын М. Юлия Антония, умер изгнанником в 26 г. по Р. Х. Другая фамилия, Юлии-Октавии, в мужских своих представителях, была малолетна. Но третья, Клавдии, взявшая верх над двумя предыдущими, оказалась еще сильна и плодovита, в особенности же ветвь ее, именуемая «домом Германика». У Агриппины и Германика было девять человек детей. Сестра Германика Ливилла, замужем за Друзом Цезарем, принесла близнецов (772). Бездетность и малолетность, свидетели конечного вырождения, стали сказываться только в детях Германика, в предпоследнем поколении Цезарей, полном, как мы видели, кровосмешении чуть не повального. В огромном большинстве, члены расы Цезарей — или очень сильные физически, или, по крайней мере, чрезвычайно выносливые, живучие люди. Те из них, кому не суждена была насильственная или случайная смерть в молодых годах от руки своей или вражеской, доживали до глубочайшей старости. Август, вопреки своему слабому здоровью, умер 76 лет, Ливия — 86, Антония Младшая — 76, Тиберий Цезарь, буквально изъеденный болезнями, — 77, да и то, в последнем случае, выйти из тела душе императора помог постельными подушками временщик Макрон, иначе старик пожил бы еще, быть может, долго.

VI

Обратимся к предкам императора Нерона со стороны отцовской. Какие свойства мог привить к отравленной крови Юлиев-Клавдиев-Антониев Гней Домиций Аэнобарб?

Наследственность Нерона в род отца была замечена и подчеркнута еще Светонием. Он прямо называет Нерона дегенератом фамилии Домициев Аэнобарбов, в котором вылиняли доблести предков, но уцелели наследственные и врожденные пороки.

Домиций, *Gens Domitia* — древний плебейский род, славный в Риме чуть еще не с царей, аристократы самой чистой «голубой крови», настоящая «белая кость». Уже на заре римской республики, в начале пятого века до Р. Х., родословное дерево Домициев разделилось на две ветви, самостоятельных одна от другой, — на Домициев Аэнобарбов, то есть Меднобородых, и Домициев Кальвинов, то есть Лысых. В корне первой ветви, от которой, по прямой, ни разу не прерванной

линии, произошел император Нерон, стоит Люций Домиций, легендарный боговидец, возвестивший народу и сенату римскому о победе диктатора Авла Постумия над латинами при Регильском озере (258 г. Рима, 496 до Р. Х.). Кастор и Поллукс, божественные близнецы Диоскуры, открыли Домицию это благое событие, нетерпеливо ожидаемое всем Римом, в сверхъестественном видении. Когда он им не поверил, то они, в знамение и в наказание, возложили длани на лицо Домиция, и, ранее черная, борода его покраснела, как огонь, и стала отливать медью. Отсюда и прозвище Аэнобарба, Меднобородого. Оно укрепилось в народе за потомками Люция, было сохранено ими, когда род вошел в патрицианскую среду, и затем, наследственно, из поколения в поколение, переходило к мужским представителям фамилии. Со временем чуда рыжие бороды не переводились в фамилии Домициев Аэнобарбов, сделавшись их отличительной приметой. Кровных Домициев узнавали в Риме по типически рыжим бородам, как в новых веках Бурбонов — по изогнутому в орлиный клюв, хищному носу, Габсбургов — по тяжелому подбородку, потомство Павла I — по «виртембергским» серо-голубым глазам супруги его императрицы Марии Федоровны и т.д. Чудо превращения брюнета Домиция в рыжего Аэнобарба одно из самых громких в ряду религиозных преданий Рима, хотя сказка эта — греческого происхождения. Память чуда надолго пережила саму фамилию Аэнобарбов. Еще в начале третьего века по Р. Х. о нем говорит с насмешкой Тертуллиан. «Но к чему приводить чудеса и обаяния сих лживых духов, описывать призраки под личиной Кастора и Поллукса, выставлять за диво воду, носимую весталкой в сите, корабль, влекомый поясом, бороду, вдруг делающуюся рыжею? Зачем изобретены все подобные кудесничества? Затем, чтобы заставить поклоняться камню в предосуждение истинному Богу». (Апология, XXII.)

О храме, воздвигнутом Диоскурам, в память их явления, — конечно, затем много раз перестроенном, — и сейчас напоминают посетителям Рима три прелестные колонны у подножия Палатинского холма, одно из лучших украшений панорамы Форума.

Летопись фамилии Домициев Аэнобарбов блистательна. Семь консульств, два триумфа и две цензуры соединены в истории республиканского Рима с именами Аэнобарбов, а настоящая сила их была еще впереди — им дал ход Август. «Достопримечательна особенность в роду Домициев, — говорит, в эпоху Тиберия, историк Веллей Патеркул: — насколько фамилия эта знатна происхождением и славными карьерами, настолько же она бедна числом членов своих. Включая сюда и нынешнего Гн. Домиция (это будущий отец Нерона), юношу благороднейшей обходительности (*nobilissimac simplicitatis*), все Домиции (почти всегда) были в семьях своих единственными сыновьями. Зато все выслуживались кто до консульства, кто до высоких жреческих степеней, и почти все удостоены были знаками триумфаль-

ных отличий». Следя за историческим движением рода, нельзя не заметить, что, упорно передавая по наследству физический тип, поколения единственных сыновей оказались не менее упорными и цельными передатчиками наследственности психической. Уже отдаленные предки цезаря Нерона проявляли из ряда вон выходящие высокомерие, дерзость, самодурство, тщеславие, склонность к скоморошеству, любострастие и жизнелюбие, столь властно расцветавшие потом в самом Нероне, последнем и наиболее законченном из Аэнобарбов.

Пращур Нерона, консул 632 г., Гн. Домиций Аэнобарб, — в этой фамилии Гней и Люций чередовались в поколениях, как изблюбленные личные имена, хотя и не всегда в правильной последовательности от отца к сыну, — пращур Нерона, герой галльских войн, победитель аллоброгов и арвернов, устроил себе нечто вроде самовольного триумфа: проехал свою провинцию, восседая на военном слоне, окруженный почетным караулом. Должно быть, эта выходка произвела в свое время большой соблазн, потому что, даже два с половиной века спустя, Светоний отметил ее в своем родословии Нерона с явным неодобрением. Это был человек коварный. Царя арвернов он захватил в мирное время, с нарушением всех приличий гостеприимства, так что даже сконфузил тем римский сенат. Практический результат его действий, т.е. пленного вождя, приняли: уж слишком был выгоден, — но без благодарности, — и образца действий Домиция не одобрили. Будучи назначен цензором, Гн. Домиций исключил из сенатского сословия сто пятнадцать человек. Валерий Максим рассказывает об этом Домиции, что, когда он, в бытность свою трибуном, враждовал с знаменитым «принцепсом сената», М. Эмилием Скавром, один из рабов последнего предложил Домицию купить компрометирующие Скавра сведения. Гордый магнат, поколебавшись немного, арестовал изменника раба и отослал в распоряжение господина: так единство классового интереса победило в рабовладельце чувство личной вражды и азарт политической борьбы. Поступок этот послужил Домицию хорошей рекламой, создал ему громадную популярность и укрепил его дальнейшую карьеру. Он последовательно был консулом, цензором и великим жрецом (*pontifex maximus*).

О сыне его, либеральном преобразователе выборов римского жречества (впрочем, либерализм Домиция родился из личных счетов с жреческой корпорацией), но нетерпимом гонителе латинских школ красноречия, товарищ его по цензуре (662 г.) и политический противник, оратор Лициний Красс, пустил знаменитую острогу, что не диво, если растет медная борода у того, кому природой отпущены чугунный лоб и свинцовое сердце. Злой каламбур, метко попав в цель, пережил полтора столетия и, снова войдя в моду, повторялся при цезаре Нероне.

Умеренный, деликатный писатель-обыватель, Плиний Старший характеризует чугуннолобого Домиция как человека бешеного по при-

роде (*vehemens natura*), да еще обозленного ревливой ненавистью к блестящему и остроумному Лицинию Крассу. Они вечно ругались «по несходству характеров». Однажды Гн. Домиций вообразил поддеть ненавистного коллегу, обвинив его в безумной роскоши, несогласной с саном цензора. Анекдот этот одинаково, с незначительными вариантами, рассказывают Валерий Максим и Плиний Старший. Домиций придрался к колоннам из греческого гиметского мрамора, которыми Л. Красс, первый в Риме, украсил дворец свой. Л. Красс, выслушав речь своего противника, хладнокровно спрашивает:

- Во сколько ты ценишь дворец мой?
- В шесть миллионов сестерциев (600 000 рублей)¹.
- Хорошо. А если я срублю лotosовые деревья перед ним?
- Даю половину. (По Плинию: не дам ни единого динария).

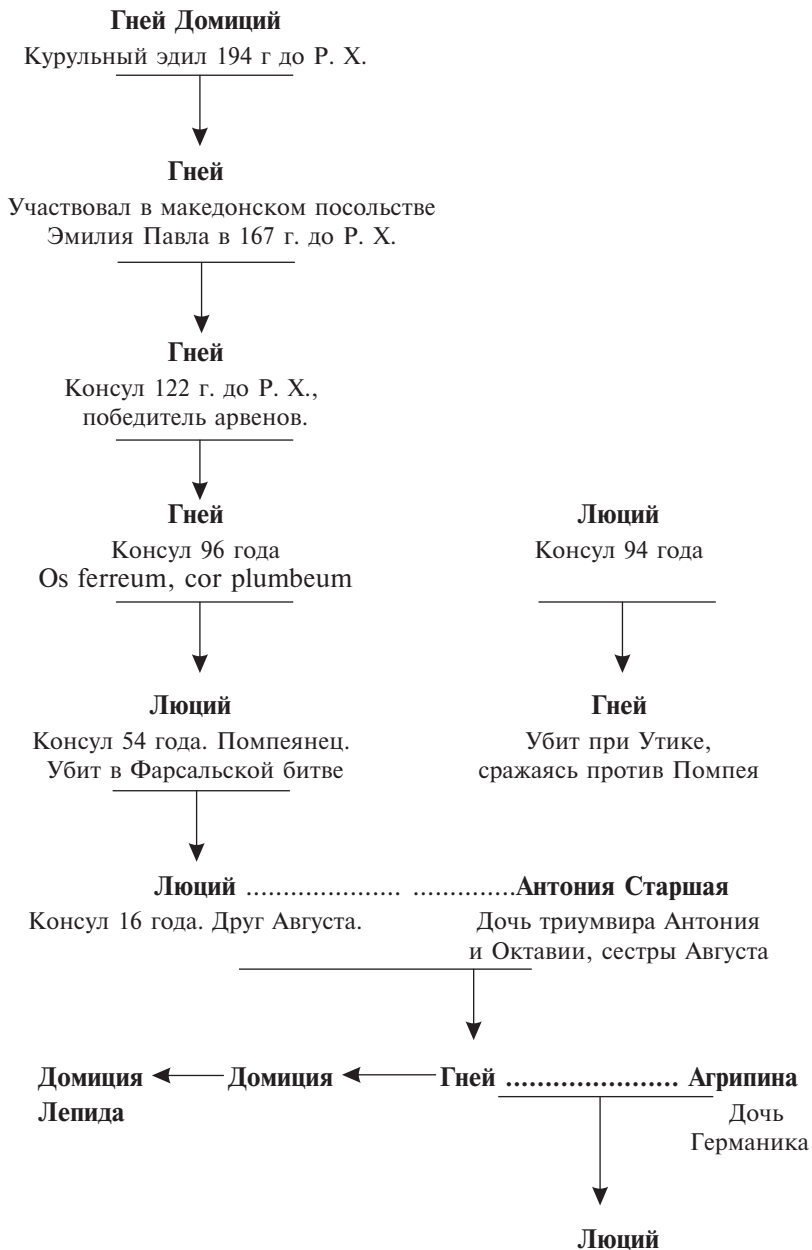
¹Sestertius, сестерций, римская монета, равная 2,5 ассам или 0,25 денария, — единица сестерциального счета (*ratio sestertiarum*). Стоимость ее на современные деньги определяется очень различно.

Bouché Leclereq, Cagnat et Goyau:	республик, серебряный сест. — 25,3 сент.; императ. желтой меди сост. — 26,8 сент.
Lübker	17,54 пфеннига — 21,92 сент.
Antony Rich:	«немного более двух су», т.е. свыше 10 сент.
Adam:	19,305 сент.
Dureau de la Malle:	19,5 сент.
Hultsch и Marquardt:	в эпоху republ. серебряной валюты — 17 пфен. = 21,25 сент.; по императ. золотой валюте — 22 пфен. = 27,5 сент.

Вообще же, в круглом счете, Марквардт принимает сестерций в 20 пф. = 25 сент. Я буду пользоваться этим счетом, так как 20 пф. = 25 сент. = $\frac{1}{4}$ франка = $\frac{1}{16}$ золотого рубля = $6 \frac{1}{4}$ золот. коп. = приблизительно 10 копейкам современного серебряного курса (9,47).

Sestertius (*semis tertius*) — прилагательное, обращенное в существительное из определения к *nummus*, денежный знак. Во множественном числе, до тысячи, имеет именительный падеж *sestertii*; сто сестерциев — *centum sestertii*. Но тысяча сестерциев — *sestertium*, существ. среднего рода, возникшее из определения к *pondus*, металлический вес. Оно образует как бы новую высшую монетную единицу для дальнейшего счета. Во множественном числе имеет именительный падеж *sestertia*, откуда взялась и неправильная, но часто употребительная русская форма женск. рода — сестерция, -ии; мн.: сестерции, -ий. *Vina sestertia* — две тысячи сестерциев. Родительный падеж множественного числа *sestertium* образует сходно с именительным единственного: *sestertium*. Предшествуемый кратными числительными наречиями: *bis*, *ter*, *quater* и т.д., этот родительный падеж предполагает опущение *centena milia*, то есть ведет счет на сотни тысяч: *quinquies sestertium* — *quinquies centena milia sestertium* = 500 000 сестерциев; *decies* — миллион; *centies* — десять миллионов; *milies* — сто миллионов; *bis milies* — двести миллионов и т.д.

Таблица исторических Домициев Аэнобарбов



— Граждане! — обращается Л. Красс к публике, — смотрите: кто из нас более годится в цензоры? Я ли — заплативший сто тысяч сестерций (10 000 рублей) за мраморные колонны, или — этот господин, который согласен платить три миллиона сестерций (300 000 рублей) за тень от маленьких деревьев?..

Брат «чугунолобого» Гнея, претор Люций Д.А. отличился, в звании генерал-губернатора Сицилии, таким удивительным деянием. Какой-то пастух принес ему в дар гигантского вепря. Домиций, изумленный величиной чудовищного зверя, спрашивает: чем ты его убил? Пастух отвечает: рогатиной. Тогда Домиций приказывает казнить пастуха через распятие на кресте. Потому что незадолго пред тем он, под предлогом борьбы с разбойничеством, в действительности же в страхе пред восстанием рабов, опубликовал приказ, которым населению Сицилии воспрещалось хранить какое бы то ни было оружие. «Может быть, — оговаривается Валерий Максим, сообщая этот любопытный административный анекдот, — иные скажут, что это уже не строгость, а свирепость; да, правду сказать, в деле есть за что определить его и тем, и другим именем; но соображения государственные никак не позволяют нам обвинять претора Домиция в исключительной жестокости».

Сын Г. Домиция с чугунным лбом, Люций, консул 700 года, один из самых важных и влиятельных деятелей аристократической партии, имевшей во главе Помпея Великого против Юлия Цезаря. К последнему Домиций пылал не только политической, но и неукротимой личной враждой, на которую Цезарь, кажется, отвечал презрением. По крайней мере, взяв Домиция в плен при капитуляции Корфиниума, Цезарь не позаботился даже обезопасить себя от него в дальнейшем и отпустил его на все четыре стороны. В случае победы аристократов, предполагалось сделать Домиция наместником обеих Галлий, с теми же правами и с той же долгосрочностью проконсульских полномочий, какие имел Юлий Цезарь.

Домиций слыл за человека непостоянного характера, бурного нрава и строптивого ума. То есть был честолюбцем высокого о себе мнения, но на самом деле далеко не орлиного полета, с умом поверхностным и легкомысленным, руководимый свирепыми сословными предрассудками, вместо политической программы, личными злобами и предубеждениями, вместо государственных принципов, лишенный всякого благородства и великодушия в приемах борьбы и, вдобавок ко всем недостаткам, одержимый духом bestолкового противоречия, жадной своего особого мнения и несноснейшим упрямством. При столь незавидных качествах, Л. Домиций был для дела Помпея другом опаснее врага.

Его военной бездарности и нежеланию считаться с дисциплиной по высшей команде обязаны Помпей и сенат бесславной потерей Корфиниума, решившей проигрыш помпеянами войны с Цезарем в

Италии. Сдача Корфиниума отдала в руки Цезаря сильнейшую стратегическую базу и совершенно свежий корпус неприятельских резервов. Неудачный комендант и полководец, Домиций не сумел сохранить в этой некрасивой капитуляции и человеческого своего достоинства. Сначала он вошел было в заговор с офицерами своего штаба бежать от вверенного ему гарнизона, оставив, таким образом, на суровую расправу победителя бескомандную и ни в какой политике не повинную массу нижних чинов. Однако солдаты не дались в обман и, проведав замыслы начальства, открытым военным бунтом заставили недобросовестных вождей разделить участь общего плена. Тогда Домиций попробовал отравиться. Врач его, раб, умышленно дал господину, вместо яда, сонный порошок. Узнав о том, самоубийца, уже помилованный Цезарем, обнаружил восторг совсем не римского жизнелюбия и, в порыве благодарности, даже отпустил догадливого врача на волю. Нежный к себе, жизнелюбец этот мало церемонился, когда дело шло о других. В македонской эмиграции, когда помпеянцы, заранее уверенные в победе над Цезарем, проектировали способы дальнейшего взмездия и подавления демократии, Домиций явился оратором крайних террористических требований: настаивал на поголовном истреблении не только всех, явно стоявших за Цезаря и демократию, но и тех, которые, воздержавшись примкнуть к какой-либо партии междоусобия, оставались нейтральными зрителями войны. Редко принцип «кто не с нами, тот против нас» провозглашался с большей наглостью и жестокостью. К счастью, террористические намерения помпеянцев были быстро и решительно рассеяны страшным фарсальским разгромом. Домиций погиб в этой битве (6 июня 708), изрубленный конницей Марка Антония, от натиска которой бежал со своим отрядом.

Совершенной противоположностью и отцу своему, сицилианскому проконсулу, суллианцу Люцию, и кузену, плачевному герою Корфиниума, является вождь народной партии, Гней, зять Цинны, изгнанный в 82 году Суллой в качестве энергического марианца. В Африке он успел собрать рассеянных членов партии и, во главе значительной армии, угрожал, по примеру Мария, но еще серьезнее, переправиться в Италию для новой междоусобной войны. Высланному против него с громадным флотом Помпею удалось быстро разбить Домиция при Утике благодаря измене части его солдат и нападению врасплох, в ужасную бурю. По Плутарху — Домиций пал в битве, сражаясь в первых рядах. По Валерию Максиму — казнен Помпеем. Валерий Максим называет Домиция человеком «знатнейшего рода, безупречной жизни, искренно приверженным к отечеству» и с видимым неодобрением относится к Помпею, жестоко и несправедливо казнившему Гнея Домиция Аэнобарба «во цвете его лет».

Не лучшим корфиниотского героя вышел и следующий отпрыск рода, участник заговора на смерть Юлия Цезаря, прадед императора Нерона. Это перебежчик по натуре. Во время гражданских войн, вы-

званных убийством диктатора, Домиций успел послужить всем лагерям. Сперва стоял за Брута и, командуя республиканским флотом, очистил Ионическое море от кораблей триумвиров. После роковой битвы при Филиппах, где пали на мечи свои «последние римляне», подчинился триумвиру Антонию, стал его другом и адмиралом его флота. Но когда битва при Акциуме склонила солнце Антония к закату, Домиций, с той же развязной легкостью, перешел на сторону победителя Октавиана. Выгод от последнего своего переметничества он не успел получить, так как вскоре умер от малярии. Римские историки хвалят его строптивость против Клеопатры, которой он упорно отказывал в титуле царицы, но с отвращением говорят об измене Антонию — тем более позорной, что Аэнобарб решился на нее в угоду своей любовнице, некой Сервилиии Наиде. Читателям, знакомым с Шекспиром, Аэнобарб этот должен быть памятен из трагедии «Антоний и Клеопатра». В лице его великий поэт, с поразительной художественной прозорливостью, создал собирательный фамильный тип Домициев Аэнобарбов, одинаково и одновременно способных и на гнуснейшие подлости, и на величайшие, истинно героические дела.

Дед императора Нерона, консул 738 года, ученый стратег, прославленный и талантом и счастьем, завоевал себе триумф в германской войне, проникнув в земли за Эльбой дальше, чем кто-либо из прежних полководцев. Но его не любили за хвастливую надменность, вызывающее мотовство, а главное, за в высшей степени недоброжелательный и наглый характер. Любопытно, что в деде оказывалась склонность к артистическим чудачествам, нелестно прославившим впоследствии внука. В бытность свою претором и консулом, Домиций понуждал всадников и благородных дам к участию в театральных представлениях. Он устраивал звериные травли не только в цирке, но завел для них арены во всех кварталах города; игры же гладиаторов обратил в такую безмерную бойню, что император Август был вынужден сдерживать их свирепость нарочным указом, так как частные замечания и увещания его оставались бесплодными. Тем не менее, несомненно дружба этого грубого и необузданного магната с его укротителем Августом. Под духовным завещанием Августа значится подпись Люция Домиция, триумфатора, как душеприказчика, и он, первый из Аэнобарбов, вошел в родство с домом Цезарей, через женитьбу на Антонии (Старшей), дочери Октавии, любимой сестры Августа, от несчастного брака ее с М. Антонием, триумвиром.

VII

Плод союза Л. Домиция (ум. 778) и добродетельной Антонии, Гней Домиций, отец Нерона, приходится, таким образом, Августу двоюродным внуком, Антонию родным, — что устанавливает для Нерона вторичную родственную связь с обоими соперниками-триумвирами, да-

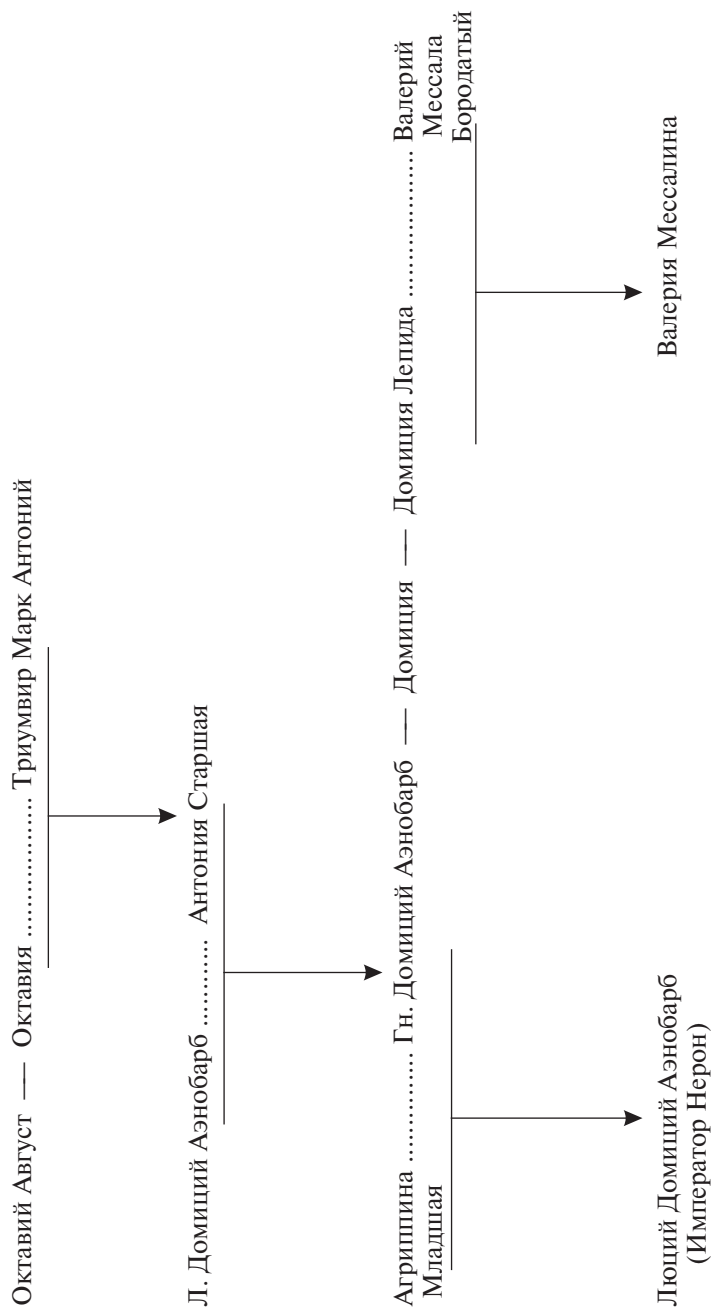
же одним коленом ближайшую, чем по материнской линии: через Аэнобарбов Нерон Антонию — родной правнук, Августу — двоюродный.

Светоний называет отца Неронова вырожденком, противным во всех отношениях, *omni parte vitae detestabilem*, изображая его как дикого самодура, существо ненавистное, свирепое, грубое, низкое. Еще юношей, Домиций компрометировал себя зверским убийством одного вольноотпущенника, который отказался выпить, в угоду ему, какую-то чудовищную меру вина. Он же, катаясь по Аппиевой дороге, нарочно раздавил прохожего мальчика. Он же, средь бела дня, заспорив на форуме с одним всадником, вышиб ему глаз кулаком. Он надувал банкиров, ловко увертывался от кредиторов, ухитрялся даже, заведя бегами, не платить наездникам взятых ими призов. Характеристика Гн. Домиция Светонием получила твердые права гражданства в позднейшей исторической литературе. Однако не позволяя себе сомневаться в общей справедливости этой характеристики, можно предположить в то же время, что она почерпнута Светонием из какого-нибудь очень враждебного Цезарям источника, и оттого краски ее слишком сгущены. Современный Гн. Домицию историк Веллей Патеркул называет его «юношей благороднейшей порядочности», *nobilissimae simpliciter juvenis*. Еще более примечательно, что Тацит, которому все подобные анекдоты о родителе ненавистного ему Нерона были бы очень кстати для его полемической против цезаризма летописи, ни разу не обмолвился дурным словом о Домиций и его похождениях. При Тиберии, в последний год его правления (790), Домиций попал в государственную тюрьму, как политический преступник, по доносу об оскорблении величества и прикосновенности к заговору на жизнь государя, и как уголовный, по обвинению в кровосмешении с сестрой своей Домицией Лепидой. С ней читателю случится встретиться еще неоднократно. В данном месте важно лишь отметить, что она родная мать Валерии Мессалины, прижитой Лепидой в браке с Валерием Мессалой Бородатым. Хороша семья, где брат дает жизнь Нерону, а сестра рождает Мессалину!.. Последняя, таким образом, приходится Нерону двоюродной сестрой. Родственное сходство характеров между ними очень заметно. Другая сестра Аэнобарба, тетка Нерона, Домиция, оставила в истории след только яркой и весьма неразборчивой в средствах, ненавистью, которую она питала к своей невестке, Агриппине Младшей, в чем, впрочем, не уступала ей и сестра Лепида.

От неминуемой казни Гн. Домиция спасла смерть старого императора Тиберия, которую Аэнобарб счастливо выждал, оттянув суд под предлогом будто готовится к защите.

Брак Домиция с Агриппиной, заключенный, по воле Тиберия, в 781 г., оставался бездетным слишком восемь лет. Оно и не удивительно, если принять во внимание огромную разницу возраста между старым пятидесятилетним мужем, к тому же истощенным всяческими распутствами, и молоденькой женой, едва вышедшей из детства.

Родство Нерона и Мессалины



Впрочем, как видно, будущая змея давала чувствовать себя уже в юном змееныше. По крайней мере, Домиций хорошо знал цену своей супруге и находил, что они друг друга стоят. — Уж если от меня с Агриппиной родится что-нибудь, — говорил он с цинической откровенностью, — то, наверное, такое чудище, что не поздоровится от него обществу (*negavit quidquam ex se et Agrippina nisi detestabile et malo publico nasci potuisse*).

Некоторым исследователям, охочим до романических гипотез, непременно желательно, чтобы брак Домиция и Агриппины был очень несчастлив. Можно, однако, весьма сомневаться в том, хотя и не на таком шатком и наивном основании, как берет Герман Шиллер, который любовь Домиция к жене доказывает тем пикантным расчетом, что Нерон родился у этой сомнительной четы 15 декабря 790 г., а Гн. Домиций был выпущен из тюрьмы аккуратно за девять месяцев перед тем, 16 марта, и, следовательно, немедленно по освобождении отправился к Агриппине и привел ее в беременное состояние. Эта подробность является интересной разве лишь в том отношении, что через нее мы получаем право рассматривать зачатие Нерона, как результат вынужденного тюремного воздержания и, к прочим факторам вырождения, влиявшим на несчастного ребенка, прибавить еще нравственные и телесные страдания, которыми измучила отца его суровая римская тюрьма. Более серьезное указание, что брак не был тяжел Агриппине, следует видеть в том, что супруги не развелись, хотя имели к тому много удобных случаев и предлогов: долгое неплодие Агриппины, политический и противонравственный процесс Домиция при Тиберии, фавор и потом ссылка Агриппины при Гае Цезаре. А ведь дело происходило в веке, когда взять и дать развод не почиталось ни трудным делом, ни предосудительным, и, по сатирической гиперболе, многие дамы считали своих мужей по консулам.

Итак, ровно девять месяцев спустя после освобождения Гн. Домиция из тюрьмы, родился у него от Агриппины единственный сын, нареченный, в обычном порядке фамильного чередования, Люцием Домицием. Существует легенда, будто, приняв младенца на руки, нежный родитель напутствовал дитя в свет следующей пророческой насмешкой:

— Ну, сынок, если ты удашься в меня, твоего отца, и в Агриппину, твою мать, то быть тебе пугалом и палачом вселенной!

Другая легенда уверяет, и не без вероятности, что имя Люция наречено новорожденному Гаем Цезарем. Немецкий биограф Агриппины, Штар полагает, будто Калигула назвал мальчика не Люцием, но Клавдием. Это возможно, потому что в роду Клавдиев не любили имени Люций и почитали его несчастным, так как один из двух Люциев Клавдиева рода был осужден за разбой, а другой за убийство. Именно в замену несчастного имени и ввели Клавдии в свой фамильный календарь сабинское имя Нерон, которое обозначает «храбрый», «от-

важный». Однако утверждение Штара голословно и одиноко в литературе.

Возникло же оно из рассказа Светония (Nero, VI, 25), будто на девятый день после родов, в день очищения (*die lustrico*), Агриппина, представляясь ко двору, получила еще наглядное предзнаменование будущих недобрых судеб своего детища. Г. Цезарь, побуждаемый сестрой дать ребенку имя по его, государеву, выбору, шутовал, как всегда: вызвал из свиты дядю своего Клавдия (впоследствии принцепса, который женился на Агриппине и усыновил Нерона) и предложил: вот, бери его имя! Все поняли, что это — не серьезно, а только, чтобы подразнить Агриппину злой шуткой, потому что в то время Клавдий был посмешищем всего дворца (*inter ludibria aulae erat*). Агриппина с презрением отказалась, но безумный Калигула оказался пророком, сам того не желая. Анекдот настолько в духе эпохи и в характере Гая Цезаря, что его можно считать вероятным. Во французской литературе скользили иногда намеки, что Нерон легко мог быть сыном державного дяди своего, Гая Цезаря. Но в пользу такой гипотезы — весьма соблазнительной для заключительного аккорда тяжелой наследственности — нет решительно никаких данных, кроме беспредельной половой распущенности Калигулы и, засвидетельствованной Тацитом, готовности Агриппины проституировать тело свое, не стесняясь ни саном, ни родством, во всех случаях, когда ей было выгодно. Полагаю, что если бы подобные догадки, выращенные фривольным воображением XVIII и XIX веков, приходили в голову людям древности, то они оставили бы след у Светония, Ювенала, Плиния Старшего и др., как оставили его — в сплетнях, сатирах, эпиграммах — другие кровосмешения и семейные безобразия тех же самых лиц.

Роды достались Агриппине тяжело: ребенок вышел ногами вперед. Восходящее солнце, хотя лик его стоял еще за горизонтом, озарило новорожденного лучами, прежде чем его, по римскому обычаю, положили наземь. Придворный астролог Фразилл Младший составил гороскоп младенца. Он обещал, что мальчик достигнет верховной власти, но убьет свою мать. Агриппина возразила классической фразой:

— Пусть убьет, лишь бы государем был.

Если этот анекдот — басня, то очень хорошо выдуманная. Молоденькой роженице, будто бы произнесшей, в порыве фантастического властолюбия, гордые слова столь огромной и зрелой страсти, шел тогда всего двадцать третий год.

Глава вторая

ЛЮЦИЙ ДОМИЦИЙ АЭНОБАРБ

Детство будущего императора сложилось тяжело и безрадостно. Мать, родив Люция, немедленно о нем позабыла, — сдала на руки двум кормилицам-гречанкам, Эклоге и Александрии. Об этих женщинах можно сказать, что они служили своему господину, с буквальноностью, от первого часа его пребывания на земле до последнего, потому что, со временем, их старые руки зажгли погребальный костер Нерона. Агриппина, — сестра и, может быть, любовница нового принцепса Гая Цезаря, — вся ушла в придворную жизнь и дворцовые интриги. Муж ее, старый и уже с разрушенным здоровьем человек, по-видимому, от нее отступился. Он покинул Рим и поселился в этрурийском курорте Пиргах (порт древнего Цере, ныне развалины близ деревни Черветри), на берегу Средиземного моря, чтобы лечиться от водяной болезни, а может быть, чтобы, под предлогом лечения, избавиться от унижительного присутствия при дворе, где Агриппина так дерзко и его, и себя компрометировала. В Пиргах и умер последний из Аэнобарбов в 792 г., задушенный водянкой. Люцию тогда только что исполнилось три года. Смерть отца, к тому же заочная для сына, разумеется, не могла остаться в памяти такого маленького мальчика и не составила для него особого несчастья. Впоследствии, усыновленный Клавдием Цезарем, Нерон обижался, если его называли по старой, кровной фамилии, Аэнобарбов. Но, став государем, он проявил, очень неожиданно для всех, а может быть и для самого себя, какую-то особую, романтическую привязанность к памяти своего родного отца: выпросил для него у сената статую и настоял, чтобы день его рождения, 11 декабря, был включен в поминание Арвальских братьев.

* * *

Нам часто придется встречаться с именем Арвальского братства. Это любопытнейшее религиозно-государственное учреждение пережило все ступени эволюции Римского государства: родилось оно ранее Рима и умерло лишь накануне смерти самого Рима. *Argvum*, *arva* значит пахотная земля, готовая к посеву. *Arvales fratres*, братья Арвалы, — орден земледельцев. Легенда приписывает его основание 12 братьям, — сыновьям мифической Акки Ларенции. *Асса*, *Атта*, в санскрите *Ай́ка*, значит «мать». Акка Ларенция — буквально: «мать Ларов». Именно так и чтилась она в Риме, как мать Ларов, богов домашнего хозяй-

ства, блюстителей севооборота, хранителей плодотворяющей почвы в смене двенадцати месяцев года. Таким образом, символика мифа ясна и проста: пред нами культ оседлой цивилизации, созданной переходом народа от жизни полукочевыми пастушескими кланами к родовому союзу хозяев-земледельцев, нашедших идею общественной земли. Когда эпитет «мать ларов», «Акка Ларенция», обратился в народном представлении именем собственным, он оброс сказками, в которых звучит много мифологических пережитков и исторических воспоминаний. Акка Ларенция оказывается иногда пастушкой, фавной, женой Фаустула, который, в свою очередь, не то пастух, не то леший Палатинского холма, кормилицей Ромула и Рема; иногда богатой проституткой, которая, в эпоху Ромула или Анка Марция, завещала римскому народу свои громадные земли. Примешивались к мифу чудесные сказки о весталке Рее Сильвии, обольщенной Марсом; о Геркулесе, наградившем Акку Ларенцию за ее услуги, как проститутки, всеми богатствами туска Таруция (т.е. Землевладельца); о чудесной волчице, питавшей Ромула и Рема. Примешивалась игра словом Лира, которое в позднейшие времена стало обозначать не только волчицу, но и проститутку. Примешивалось историческое воспоминание о весталке Гайе Тарации (Землевладелец), действительно, завещавшей народу римскому значительный участок земель по Тибру. В историческое бытие Акки Ларенции римляне верили настолько, что еще Катон-цензор брался указать достоверно, какие именно урочища достались от нее Риму.

В течение веков культ раздробился. Этой Акке Ларенции — земной, человеческой, — кто бы она ни была, пастушка или проститутка, — первобытной святой римского народа, благодетельнице перво-Рима на Палатинском холме, — воздавался почет в пределах самого Рима, на Велабре, где предполагалась ее гробница. День ее праздника был 23 декабря, в символическую пору пробуждения земли от зимней спячки, в канун Рождества Непобедимого Солнца. Ту Акку Ларенцию, идеальную, — обожествленную творческую силу принадлежащей городу пахотной земли, — Рим, развиваясь из деревни в город, увел туда, где и было естественно ей царить: в поля, на границу своих пахотей, за пять миль от черты начального города. Здесь она — божественная богиня, Dea Dia, — перестала быть узким палатинским божеством, и храм ее, как предполагает Гофман, сделался святилищем туско-латинского союза. Ее праздники справлялись в начале мая, в пору сева, с колебанием чисел на десять дней, по предварительному назначению коллегии арвалов, которое определялось и объявлялось 23 декабря — следовательно, в день римских Ларентиалий. Если сопоставить календарные числа, то окажется, что обоими праздниками мы становимся в близкое соседство хлебных праздником христианского славянства — зимнего и вешнего Николы. Год арвалов считался и должностные лица их сохраняли правомочия свои — «с праздни-

ка посева до праздника посева» — «a Saturnalibus primis ad Saturnalia secunda». Применить к русским понятиям, будет почти как раз — с Никольщины по Никольщину.

В эпоху принципата братство Арвалов — самая аристократическая, священная и замкнутая из всех духовных корпораций. Я не хочу назвать ее жреческой, потому что со словом «жречество» в русском языке сливается понятие профессионального священства, тогда как именно этого-то элемента в корпорации Арвалов и не было. Эта коллегия мистического земледелия скорее напоминала франкмасонскую ложу, под условием той, непривычной для нас, разницы, что она была не только признана государством, но и стала его символом-выразителем. Нет никаких точных сведений об арвалах в республиканскую эпоху Рима. Думают, что их братство было в упадке до Августа, который, в старании укрепить конституцию принципата, старался найти ему опору в консервативных симпатиях римского народа и, разыгрывая роль «нового Ромула», восстановил и оживил много архаических пережитков первобытного культа. К братству Арвалов могли принадлежать только члены самых старинных фамилий Рима, по возможности восходивших родословием к эпохе основателей — первых пахарей в долинах семихолмного города. В арвальских протоколах 39 г. по Р. Х. братьями-арвалами оказываются почти сплошь баре с многовековыми родословными: Павел Фабий Персик, К. Кальпурний Пизон, Аппий Юний Силан, Гн. Домиций Аэнобарб, тот самый, с которого пошла у нас речь об арвалах, отец Нерона. Отмечается членство М. Фурия Камилла, последнего потомка великого воина, покорившего Вейи. Честью быть в числе 12 арвалов гордились лучшие императоры. Двое из них — Антонин Пий и Марк Аврелий — оставили свои бюсты в ритуальных знаках арвалов. Членство было пожизненное, причем звание своего брат-арвал не мог быть лишен государством ни в каком случае, сохранял его даже в плену и в изгнании. В год своего междоусобия и битвы при Бедриаке, враждующие императоры, Отон и Вителлий, оба были и остались в составе арвалов. Доступ в арвалы был, надо думать, очень труден. Протоколы арвальского ордена никогда не исчисляют братьев-арвалов в полном комплекте двенадцати: самое большое, что их сходится девять. Верный знак, что, с вымиранием коренной землевладельческой аристократии, магнатов от мужицкого корня, не легко было пополнять этот комплект, и избытка в членах, выражаемого в корпорациях параллельным комплектом кандидатов-заместителей, никогда не имелось. Во главе братства стоял ежегодно (по календарю братства) сменяемый *magister*. Первым, предполагается, был основатель государства, Ромул. В императорский период (обобщая сюда и принципат) *magister* по всей вероятности, был пожизненно всегда сам император, почему фактически управлял орденом назначаемый им *promagister*. В восьмидесятых годах первого века по Р. Х. в протоколах арвалов прибавляются жреческие должно-

сти: *flamen* и, как заместитель, *proflamen*. Если один из братьев умирал, *magister* назначал ему преемника, непременно в присутствии других братьев. В порядке этом, как и в названии обряда — *соортатио*, сохранилось свидетельство, что в республиканскую эпоху составы арвалов возобновлялись, действительно, через кооптацию в коллегиально-избирательном порядке. Официальным и всенародным проявлением жизни ордена был вышеупомянутый майский трехдневный праздник. Его символика была искусно и осмысленно пригнана к естественному движению земледельческого года, и братья Арвалы, как жнецы, украшали себя венками из колосьев. Даже в третьем по Р. Х. веке, когда Рим давно уже перестал быть земледельческим государством, ел чужой, африканский хлеб и должен был совершенно утратить не только привычки, но даже легенду собственного земледелия, — даже и тогда в обрядах праздника арвалов как будто еще сквозят черты возникновения его из соседской «помочи» первобытному земледельцу-хозяину (начало и конец празднества пиром в доме магистрата, раздача денежных подарков), а если идти глубже в века, то — из начала посевных работ сразу всем земледельческим кланом, после общественного богослужения, по указу и распоряжку главы рода. Центром празднества была загородная роща «божественной Богини», *lucus Deae Diae*. Это, как сказано, в пяти милях от Рима по Кампанской дороге, на правом берегу Тибра, под холмами с выразительным нынешним именем «Замучь осла» — *Affoga l'Asino*, в виноградниках Чиккарели. Здесь некогда была кружная межа, граница пахотной земли первобытного Рима. В вековой заповедной роще, ветхих дерев которой никогда не касались топор и пила, находилось святилище ордена арвалов: храм *Deae Diae*, капелла в честь императоров (*Caesareum*), зрелищные сооружения. Развалины Цезареума и даже ниши со статуями императоров были видимы и зарисованы еще в XVI веке. Опять-таки ритуальный консерватизм франкмасонства напоминает окаменелый обряд Арвальского братства, донесший неприкосновенными до вершин римской цивилизации точные следы доисторической первокультуры. Так, в Арвальском братстве не допускалось употребление железа: знак, что корпорация возникла ранее, чем этот металл проник в земледельческий обиход, и что, в эпоху даже этого доисторического новшества, она уже была консервативна. (Фридлэндер). Столько же любопытным пережитком первобытной культуры представляется символическая трапеза-жертва арвалов пред архаическими глиняными горшками (*olla*), бережно сохранившимися в их храме. Новейшие раскопки на месте бывшей рощи Арвалов обнаружили черепки этих первобытных корчаг. Археологи признали, что их грубая фабрикация тождественна с фабрикацией осколков от сосудов, находимых под слоями пеперина — то есть лавы, рожденной вулканами Албанских гор, потухшими в доисторические времена. Момсен считает эти божественные горшки реликвиями глубокой, неза-

памятной древности, когда люди не умели еще печь хлебов, но парили зерно в корчагах, как кашу. Торжественный гимн Арвалов — древнейший памятник латинской литературы, до нас дошедший. Его язык устарел и стал темен для самих арвалов уже за 400 лет до Цицерона. Однако протокол, в котором дошел до нас этот гимн, относится к 218 г. по Р. Х., к эпохе императора Гелиогабала, когда, по сравнению Моммсена, архаический язык арвальского требника был так же непонятен арвалам, как «Кирие элейсон»¹ — пономарю в каком-нибудь современном католическом захолустье. Время как будто имеет жалость к этим мистическим бессмыслицам. Оно отняло у потомства тысячи блестящих памятников расцвета и силы римской культуры, но насмешливо сберегло наивный лепет ее младенчества, ее предрассветной поры. Прошла, говорит Фридлэндер, добрая тысяча лет с тех пор, как братья-землепашцы впервые возгласили свою молитву к Dea Dia. Город на Тибре стал центром всемирной монархии, пережил свое утро и полдень и уже склонялся к вечеру. На троне, который создал Август, сидел презренный сириец, жрец Солнца. И все продолжала звучать старая песнь сатурнийским стихом, к словам которой с благоговением прислушивались еще цари римские:

Enos, Lases, juvate!

Neve luerve, Marmar, sins incurrere in pleores!

Satur fu, fere Mars... ect.

(Нам, Лазы, помогите!

Ни смерти, ни вреда, Марс, Марс, перестань устремляться на множество!

Сыт будь, свирепый Марс и т.д.)

Загадочный текст песни арвалов, найденный в 1778 г., подвергся расшифровке и обработке бесчисленных ученых, среди которых мы встречаем такие величины, как Марини, положивший в 1795 г. начало научной разработке материалов об арвалах, как Моммсен, Бюхселер, Марквардт, Иордан, Генцен, Манихардт. Тем не менее, их совместным усилиям удалось выкроить из этой мраморной загадки лишь вышеприведенный спорный и темный текст, который весьма напоминает деревенские заговоры от болезней, напастей и общественных бед. Покойный Модестов узнавал в его ритме размеры нашего Кольцова. С этой молитвой, исполнявшейся антифонным пением, переплеталось нечто вроде ектеньи за упокой и за здоровье держателей государства. Так как пение или чтение ектеньи сопровождалось торжественными жестами и мистическим шествием, то получалось нечто вроде Великого выхода в обедне, когда священнослужители молятся за царствующий дом. Надо сознаться, что трудный славянский текст Херувимской, в перерыве которой совершается Великий выход, «дориносима чинми» и прочие архаизмы не более понятны

¹ Господи помилуй! (греч.)

большинству русских богомольцев, чем было римлянам в императорскую эпоху арвальское — «*Neve luerve, Marmar, sins incurgere in pleogres!*» Для того, чтобы арвальский гимн исполнялся без ошибок, предварительно вручались участникам церемонии, совершавшейся только один раз в год, таблички с тщательно выверенным его текстом. Каменные таблицы, на которых были иссечены протоколы празднеств Арвальского общества, его жертв, молитв, банкетов, спектаклей и скачек, найдены, в значительном количестве, частью в Риме, частью при раскопках в бывшей роше *Deae Diae*. Благодаря трудам германских ученых, *Acta Arvalia* восстановлены для 58 и 59 гг. христианской эры, т.е. как раз для интереснейшего времени правления Нерона, обрывки же их рассыпаны на пространстве двух слишком веков, от 14 по 241-й. Это драгоценный ключ к изучению римского культа. Наиболее цельный, важный и обильный материал дает протокол 218 г., эпохи Гелиогабала, XLI в основном издании Марини.

* * *

В уважении Нерона к памяти отца Герман Шиллер видит доказательство, что старый Аэнобарб был лучше репутации, составленной ему Светонием: Нерону мол было бы неудобно просить у государства актов почтения, как святому, для всем заведомого негодяя, — да и сенату заметно понравилось благочестивое усердие молодого государя, чего не случилось бы, если бы оно было обращено на предмет недостойный. Но, во-первых, мы видели, что Гн. Домиций Аэнобарб сам был братом-арвалом, — что, конечно, облегчало просьбу Нерона: какая же мистическая корпорация не молится за своих усопших членов? Вопрос, значит, мог быть только о месте Гн. Домиция Аэнобарба в поминании арвальском, о перемещении его «вечной памяти» из членской очереди в очередь государева дома. Во-вторых, проявление юным принцепсом сыновней почтительности должно было понравиться сенату безотносительно к тому, хороший был человек Аэнобарб или дурной. Хотя общественная практика и порасшатала в данной эпохе вековые устои абсолютного отцовского права, но в теории они стояли крепко, и сенат, корпорация консервативная и аристократическая по существу, являлся верным ее хранителем. Притом Рим мертвецам, ушедшим на тот свет в мире с государством, за прошлое не мстил и старых земных счетов в могилу к ним не предъявлял. Аэнобарб спокойно умер и честно погребен, — значит, по римским религиозным верованиям, он уже не грешник, тогда-то и так-то напроказивший, но просто — отошедший от мира предок своих потомков, и маны его святы для них, и лик его должен быть помещен в семейную божничку. А так как сын Аэнобарба сделался государем, предполагаемым отцом отечества, и семья его — вся республика, то отчего же и всей республике не почтить памяти отца своего отца-го-

сударя? Гораздо более удивительно в этом случае, что Нерон говорил перед сенатом о Домиций Аэнобарбе, как о своем отце, не смущаясь оскорбить тем щепетильный закон усыновления, по которому он был уже не Аэнобарб, но Клавдий Нерон Цезарь Друз Германик. Что касается внезапной нежности самого Нерона к отцовской тени, — это почти закон природы для сирот с детства, что они любят воображать себе несуществующего отца и обожать предмет своего воображения, как некий идеал, назло самым обидным разочарованиям действительности. Такого воображаемого отца-страдальца выдумал себе, например, наш Лермонтов. Образец еще более резкий — фанатическое поклонение императора Павла Первого памяти Петра Третьего, которого он едва знал, о котором мог слышать с детства только жалкое и смешное, и, однако, любил его жарко и мучительно, а мать свою, гениальную Екатерину, ненавидел.

Потеряв отца, Люций был осужден расти и без материнской ласки. Придворные успехи Агриппины кончились худо. Из трех сестер своих, император Гай Калигула наиболее любил Друзиллу, выданную фиктивным браком за М. Лепида. Этот последний, — внук Юлии Старшей и М. Випсания Агриппы, правнук Августа, решил сам подобраться к верховной власти, отняв ее у сумасшедшего зятя. Возник дворцовый заговор, во главе которого, кроме Лепида, стоял главнокомандующий германской армией Корнелий Лентул Гетулик, и в который вовлеклась Агриппина и младшая сестра ее Юлия Ливилла, — как можно думать, не только по честолюбию, но и по преступной привязанности к свояку и кузену своему, Марку Эмилию Лепиду. Этот человек имел успех в потомстве Германика, так как был мужем одной сестры, предполагается любовником двух других и укоряется как «мужская любовница» их державного брата. Умысел был обнаружен: заговорщики потеряли головы, а сестер соучастниц Калигула отправил в ссылку на остров Понтию в Тирханском море (ныне Понца). Имена их были взяты в казну. Агриппина, высланная из столицы, стала нищей сама и оставила сына почти что на улице.

Мальчика приютила тетка, Домиция Лепида, — та самая, которая, в супружестве с М. Валерием Мессалою Барбатом, то есть Бородатым, подарила миру Мессалину, и та самая, что, в последний год Тиберия, обвинялась в кровосмешении с братом своим, отцом Нерона. Опекуном имущественным назначен был к Люцию некто Асконий Лабеон — вероятно, по завещанию Гн. Домиция Аэнобарба: впоследствии Нерон, прося у сената почестей для покойного отца, прибавил к тому и ходатайство о консульских знаках для Аскония Лабеона, как бы свидетельствуя общность своего доброго отношения к памяти бывшего отца и к бывшему опекуну. Во всяком случае, факт этот говорит в пользу Лабеона: из своего грустного детства император не вынес горечи к этому человеку, что между опекунами и опекаемыми бывает не часто. Только благодарности Нерона Лабеон

обязан тем, что имя его осталось в истории: был опекун, которому цезарь выпросил консульские знаки, — больше о нем решительно ничего не известно. Отсюда можно предположить, что опекунские обязанности свои Лабееон нес только формально, не вмешиваясь в жизнь и воспитание мальчика, захваченного Домицией Лепидой. Имушественно оберегать у Люция, покуда жил Гай Цезарь, было нечего: державный дядя обобрал родителей младенца дочиста.

Что касается Домиции Лепиды, эта женщина, при всем своем распутстве и легкомыслии, кажется, не лишена была способности проникаться острой жалостью к покинутым и беспомощным. Известно о Лепиде, что она была в ссоре со своей дочерью Мессалиной, когда та отверг и осудил на смерть Клавдий Цезарь, — однако, узнав, что дочь одинока, всеми брошена, в смертельной опасности, Лепида забыла свое неудовольствие, поспешила к Мессалине и осталась при ней, ободряя ее до последнего конца. Надо думать, что подобный же порыв жалости побудил Лепиду принять к себе маленького племянника, последнего мужского потомка Аэнобарбов. Могло быть, конечно, и так, что надзор за одиноким ребенком поручили ей просьбы умирающего или завешание покойного Гн. Домиция, связанного с Лепидой отношениями любви, быть может, и впрямь не только братской. Во всяком случае, Агриппина в этом добром деле не имеет части. Ради нее Лепида, конечно, не разжалобилась бы. Между пожилыми золовками Домициями и молодой невесткой Агриппиной жила непримиримая ненависть, питаемая и семейными скандалами, и партийными интригами двора. Истинная дочь Аэнобарбов, Лепида обладала столь же беспокойным характером, таким же ненасытным честолюбием, как и Агриппина, при той же неразборчивости в средствах к придворному, политическому и денежному успеху. Взять ребенка на воспитание, разумеется, далеко еще не значит его воспитывать. С Люцием в доме тетки обращались, по-видимому, очень мягко, — кажется, даже слишком баловали его, — но у не очень старой еще и не охочей стареть, влиятельной львицы Палатинского двора вряд ли находилось много свободного времени и внимания для малютки-племянника. Будущий император рос на руках рабской дворни, под надзором двух дворецких или вольноотпущенных: один был танцовщик, а другой парикмахер. От нечего делать, в свободное от хлопот по дому время, они обучили мальчика азбуке. Едва ли не с тем он и остался до одиннадцати лет.

Подвиг Кассия Хереи и гибель Калигулы возвратили Агриппине отечество: новый принцепс, Клавдий Цезарь, вернул ее из ссылки. Но и теперь у молодой матери не оказалось охоты заняться сыном. Вряд ли она в это время взяла его от тетки. Историки упрекают Домицию Лепиду, что мальчик рос в доме ее невеждой, выучился только азбуке, и что рабы ее развратили воображение ребенка, таская его за собой по улицам и театрам: стало быть, Люций расстался с теткой

уже в школьном возрасте, стоя в умственном развитии ниже обычно требуемого уровня своих лет и будучи уже сознательно восприимчивым к зрелищным впечатлениям и пристрастиям. Все это говорит за возраст много старше четырех-пяти лет, которые ему исполнились, когда Агриппина получила помилование и возвратилась ко двору.

По всей вероятности, ей были возвращены конфискованные имения, хотя едва ли полностью, да и, конечно, чиновники государства вотчинного управления (*patrimonium*), побуждаемые таким алчным и ненасытным на деньги расточителем, как покойный Калигула, изрядно пощипали состояния изгнанных принцесс. Светоний замечает, правда, что Клавдий не только вернул, но и приумножил достаток Нерона, но это, надо полагать, относится к несколько позднему времени фавора Агриппины. Для данной же минуты нельзя думать, чтобы возвращение из ссылки оказалось для дочерей Германика полной политической реабилитацией, сопряженной с возвращением прежнего величия и былых милостей: они имели при дворе всевластного и злого врага в лице супруги Клавдия Цезаря, Валерии Мессалины. Одну из возвращенных принцесс, младшую, Юлию Ливиллу, она добилась таки услатить обратно в изгнание, за действительное или мнимое прелюбодеяние с бывшим воспитателем детей Германика, знаменитым философом Сенекой. Таким образом, положение Агриппины при дворе Клавдия следует считать скорее терпимым в силу близкого родства, чем привилегированным. Ссылка, потеря богатства, перемена правления, ненависть Мессалины поставили Агриппину очень далеко от того царственного значения, какое, до заговора М. Эмилия Лепида и Лентула Гетулика, имела она при Калигуле. Ведь тот, в своем безумном пристрастии к сестрам, сажал их за парадными обедами выше жены своей, приказывал писать имена их в государственных актах вслед за своим именем, чеканил монету с их портретами в виде трех граций, а красавицу Друзиллу, по смерти ее, даже велел зачислить в сонм богинь (*diva*), под именем Пантеи. Избалованной всеобщим раболепием, Агриппине было трудно примириться в старой обстановке с новым положением — знатной вдовы, если не вовсе без средств, то, по крайней мере, с очень расстроенным состоянием. Надо было воскресить себя для нового двора в новом блеске, а для того, прежде всего, разбогатеть. Путь к богатству Агриппина решила искать в выгодном браке.

Как принцесса Августова дома, как дочь Германика, сестра покойного и племянница правящего государей, вдова одного из самых знатных и знаменитых консуляров, — Агриппина, конечно, имела право целить в брачных планах своих весьма высоко. А как природная авантюристка, с необузданно властолюбивым воображением, она метила даже выше, чем позволяло ей право. Женщине, которая, четыре года назад, в родовых муках, соглашалась, чтобы из ее ребенка вырос матереубийца, только бы государь, — самой нужен был трон.

И она стала стремиться к трону, — женская рука исподтишка потянулась к аметистовому пурпуру, символическому цвету принципата. В данный момент его носил слабоумный Клавдий, родной дядя Агриппины. Но мелочи родства не смущали честолюбивых людей в ту бурную эпоху политических внезапностей, солдатских заговоров, дворцовых переворотов, тайных убийств и кровавых интриг. Агриппина уже участвовала в одном заговоре, и тогда умысел ее был направлен против родного брата. Ссылка не смирила ее честолюбия, но разожгла его. Мессалина ненавидела Агриппину и опасалась ее козней недаром. Дочь Германика возвратилась в Рим — хоть сейчас же готовой на новый заговор: охотницей, чутко поджидающей поймать счастливый момент своего возвышения, как жирную добычу.

В большом свете тогдашнего Рима имелось несколько лиц, кому астрологи, маги, гадалки пророчили в будущем императорский пурпур. Пророчествовать было не очень трудно, наблюдая, как быстро вырождался и вымирал Августов дом. Предчувствие, что власть перейдет к новой династии, висело в воздухе, и, конечно, многие, в особенности связанные с Августом дальним родством или свойством, мечтали стать основателями этой будущей династии и охотно поощряли тех, кто льстил их надеждам. Втройне суеверная — как итальянка, как дочь своего, в высшей степени мистического, века и как политическая авантюристка, — Агриппина усердно кокетничала с этими фатальными счастливицами, а всего настойчивее заигрывала с Сервием Сульпицием Гальбою: ему верховную власть насулили не только темные случайные пророчества, гадания и знамения, но и предчувствие Тиберия Цезаря. По странной случайности, Гальба, действительно, со временем оправдал бывшие о нем предсказания. Хотя и ненадолго, он попал в императоры непосредственно после Нерона, которого он, — случайное орудие военного бунта, — низверг и заместил почти против своей воли. В правление Клавдия, Гальба имел уже под пятьдесят лет, был женат, имел двух сыновей. Развести его с женой Агриппине не удалось, хотя вскоре затем он сам отпустил свою Лепиду (не надо смешивать с Домицией Лепидой, теткой Нерона) и зажил одиноким холостяком. Этот суровый, некрасивый, скучный, но чрезвычайно богатый и очень знатный, солдат-нелюдим был, вообще, не охотник до женщин, хотя женщина вывела его на широкую дорогу высших почестей: знаменитая Юлия Августа (Ливия), вдова основателя принципата. Агриппина кокетничала с Гальбой до такого неприличия, что теща его, мать Лепиды, вынуждена была сделать предприимчивой принцессе очень резкую сцену и даже, будто бы, дала Агриппине пощечину.

В начале сороковых годов, родственные отношения царственно-го дома Клавдия Цезаря с домом Аэнобарбов представляются в таком виде: единственный мужской представитель угасающего дома Клавдиев — правящий принцепс Цезарь Тиберий Клавдий Друз Германик; он только что женился на Валерии Мессалине, дочери Домиции

Лепиды, урожденной из дома Аэнобарбов. Единственный мужской представитель последнего — маленький Люций; мать его Агриппина — племянница принцепсу Клавдию, и, следовательно, Люций выходит ему двоюродным внуком. Затем, кроме Домиции Лепиды, остается в роду Аэнобарбов еще сестра Домиция, замужем за Криспом Пассивном, одним из остроумнейших ораторов своего века, богачом с несметным капиталом, нажитым адвокатурой.

Ходатайство по судебным делам в первом веке империи являлось очень выгодной профессией. Древний Цинций закон 204 г. до Р. Х., *lex Cincia de dotts et muneribus*, воспрещающий брать деньги и подарки за судоговорение, пребывал в давнем забвении; попытка Августа восстановить его силу не удалась. Адвокаты, входившие в моду, а в особенности адвокаты-аристократы из сенаторов и всадников, — взи-мали с клиентов огромные куши, завидные, пожалуй, даже избалованной гонорами нынешней адвокатуре. Узда на адвокатские аппетиты была наложена уже позже; сперва Клавдий ограничил размер вознаграждений за судебную защиту; а при Нероне сенат совсем упразднил было платную адвокатуру. Так что, в лице Криспа Пассиена, она доживала свои последние красные дни, по крайней мере, пред некоторым перерывом.

Так как Рим оставил в наследие миру «писанный разум» — свое мелочно-вдумчивое, тонко разработанное право, то, казалось бы, естественно предположить, что адвокатура стояла в нем на соответственной и весьма значительной высоте. Однако, когда обратиться к сатирикам принципата, как Марциал и Ювенал, к бытовым романистам, как Петроний, и даже к историкам-публицистам, как Тацит, то с изумлением убеждаешься, что, в их изображении, римский адвокат — фигура, близко знакомая нам и поразительно, до смешного современная во всех своих отрицательных качествах. Часто вы будто Салтыкова читаете в переводе на латинский язык, и, в лице какого-нибудь Лавра Цецилиана или другой Марциаловой жертвы, встает перед вами, как живой, во весь рост, незабвенный герой «Современной идиллии», процветающий «в среде умеренности и аккуратности», друг коканского хана, присяжный поверенный Балалайкин. Настолько, что даже адвокатская кличка, присвоенная этому почтенному сословию в русском народе «нанятая совесть» дословно встречается у Сенеки в сатире на смерть цезаря Клавдия. В эпоху первых цезарей право еще далеко не достигло того изящества, той систематической глубины, которые нашло оно в обработке юристов второго и третьего века и которых властного наследия Европа не изжила до сих пор, и вряд ли изживет когда-нибудь без остатка. Сравнительная элементарность права с успехом дозволяла деление акта защиты на два процесса: изучал дело и, что называется, обзаконивал его юрист-практик, так называемый прагматик, дока (в республиканскую эпоху его-то и звали адвокатом), а судоговорение, со слов доки, вел патрон, сау-

sisicus, адвокат-оратор. Поэтому в числе последних нередкость было встретить круглого невежду по праву, что не мешало ему выигрывать процессы, иметь успех и наживать состояние, благодаря зычной глотке и природному краснобайству. В этот век, для римской юстиции была высоко современна именно балалайкинская мораль, что истина есть результат судового речения. Юридический материал для речи должен был доставлять адвокату, как уже сказано, прагматик, подьячий, судебный дока, нанимаемый клиентом за ничтожную сумму, нечто вроде столь популярных некогда в Москве «иверских аблакатов» — выгнанных приказных и тому подобных крючоктворцов не у дел, искавших какой-либо мелкой поживы по части кляуз и ябед на своеобразном юридическом рынке у старых присутственных мест близ часовни Иверской Божьей Матери. Квинтилиани, слишком двести лет спустя, в гораздо более изощренную эпоху права, блестящий ритор Либаний изображают нам этих прагматиков смиренной поденщиной великолепной показной адвокатуры, тихими лисицами, приготовляющими триумф рыкающему льву. Адвокат-патрон, — совершенно как некрасовский стих характеризует — «содрав гонорар неумеренный», вопиет, а лисица-прагматик смотрит ему в рот, следя за потоком вдохновения. Красноречие льва истощилось, и он небрежно бросает своей лисице приказ: — эй, ты там, прочитай, что следует. Дока читает подходящий закон, адвокат подхватывает тему на лету, и опять пошла трещать, на диво сработанная, говорильная машина. Было правило в римском судовом речении, заимствованное из Афин и утвержденное Помпеевым законом *de ambitu* (52 до Р. Х.). Адвокат должен был заранее заявить, сколько времени он намерен говорить, и пред ним ставились водяные часы (клепсидра), точно отмерявшие срок разрешенного ему красноречия. Клепсидра пустела в полчаса. Марциал рисует нам адвоката Цецилиана, который, выпросив себе срок в семь клепсидр, т.е. в три с половиной часа, так надоел публике, что та одного желает: — Тебя, Цецилиан, жажда мучит и голос срывается, — сделай одолжение, чтобы освежиться, не пей воды из графина, а выпей — из водяных часов. Буше-Леклерк сомневается, чтобы эти ограничения строго соблюдались, так как им противоречит возможность одному обвиняемому иметь многих защитников. В некоторых процессах число их доходило до шести и даже до двенадцати. Это злоупотребление временем суда прекращено было одним из «Юлиевых законов» (*leges Juliae*), но неизвестно — при Августе или еще при Юлии Цезаре. Квинтилиан жалуется на возмутительную небрежность многих знаменитых адвокатов к поручаемым им процессам. Делая вид, что они слишком завалены делом, или по фанфаронству, что, мол, нам все нипочем, я гений, с маха беру всякое дело, — адвокаты очень часто выслушивали от клиента обстоятельства дела только в самый день или накануне судебного разбирательства. Грех, опять-таки постоянный и в современных адвокатурах, не ис-

ключая даже английской. В сатирических изображениях Диккенса адвокаты «Записок Пиквикского клуба» и «Холодного дома» — точнейшие зеркала собратьев своих у Марциала, Ювенала, Петрония. Понятно, что, при условиях такой неподготовленности, необходимость говорить более или менее долгий срок, во что бы то ни стало, вырождала красноречие в самое шарлатанское пустословие и битье по нервам судей эффектами ораторского темперамента. Щедрин издевался над Плевако, что тот, в процессе матери Митрофании о подлоге векселей, хватался за гору Сион и проклинал час своего рождения. Но вот эпиграмма Марциала на адвоката Постума. «Мое дело пред судом вовсе не о насилии, ни об убийстве; я жалуясь на соседа, что он свел у меня трех коз; судья требует доказательств кражи; ты же, широко размахивая рукой, только звонишь во все горло о битве при Каннах, о войне с Митридатом, о всех предательствах Карфагена, о Суллах, о Мариях, о Муциях... как хочешь, Постум, а изволь что-нибудь сказать, наконец, и о трех козах!» От упреков в комедиантских приемах, «в отвратительном и пошлом скоморошестве», не ушел даже Цицерон. Чтобы ловить успех, адвокаты часто прибегали к очень недостойным средствам, даже нанимали клаку — аплодировать и кричать шумные браво их плохим речам, либо провожать их с форума уличной овацией. В погоне за клиентами и высокими гонорарами, они не брезгали никакой рекламой. Ювенал дает нам точную карикатуру, представляющую, как ведет себя в обществе искательный адвокат. Он не расстается с огромным, распухшим от бумаг, портфелем: толпа должна видеть, как страшно он занят, как много людей, доверяющих ему судьбы своего благосостояния. Он великолепно одет, таскает за собой свиту рабов и клиентов: толпа должна видеть, как страшно много он зарабатывает, — стало быть, не суйся к такому козырю с маленьким гонораром! Торгуясь с клиентом об условиях, адвокат вертит перед ним пальцами в перстнях с драгоценными камнями, и очень часто перстни эти совсем не его, а взяты на подержание у знакомого или напрокат у ювелира. Надо было жить очень шикарно, пуская пыль в глаза роскошной обстановкой дома, в особенности приемной и рабочего кабинета, потому что действительно успешные адвокаты устраивались на широкую ногу. При таких огромных предварительных «расходах производства» и широкой конкуренции, естественно развивалась неразборчивость средств к заработку: адвокаты хватаются за всякое плывущее в руки дело, не разбирая, справедливое или нет, — ведь «истина есть результат судоговорения!» В свое время мы, русское общество, много смеялись рассказу Глеба Успенского об адвокате, который столь строго таксировал свое драгоценное время, что — прежде чем выслушать дело — приглашал клиента: — Кладите ваши деньги об это место по уставам 20 ноября. Ничто не ново под луной, и Квинтилиан тоже упрекает коллег своих за обычай требовать денег «об это место», не дав еще никакого сове-

та, что он справедливо обзывает «пиратской манерой». Брать гонорар авансом запрещено было только при Траяне. Нередко адвокат продавался тайком противной стороне, с уговором провалить дело, но за такую плутню, если она открывалась, исключали из сословия. Достаточно просмотреть любой годовой отчет любого совета присяжных поверенных в русских судебных округах, чтобы убедиться, что профессиональный грех этот не истребился до сего дня. На почве такого вероломства разыгрался при Клавдии ужасный случай. «Ни один из предметов публичного торга не был до такой степени продажен, как подлая совесть адвокатов (*advocatorum perfidia*). Вот пример: Самий, знатный всадник римский, узнав, что Суиллий, которому он заплатил вперед четыреста тысяч сестерций, передался на противную сторону, закололся мечом в приемной негодя этого». Именно это самоубийство и послужило поводом к временному ограничению адвокатских гонораров. Передовая часть сената, имея во главе К. Силия, назначенного консула на ближайший срок (*consul designatus*), требовала воскресить Цинциев закон и совершенно воспретить брать деньги или подарки за защиту на суде, под страхом преследования по закону о вымогательствах (*lex Julia de repetundis*). Сенат уже склонился к такому решительному постановлению (*parabatur sententia qua lege repetundarum lenerentur*). Тогда адвокатская черная сотня, Суиллий, Коссутиан и другие, промышлявшие, по преимуществу, политическим доносом, справедливо усмотрев, что постановление это содержит в себе даже не суд над ними, а прямо-таки приговор и наказание, окружают Цезаря и умоляют — за прежнее их простить, а в будущем не лишить возможности заработать детишкам на молочишко.

— Хорошо, — говорили они, — богачам-аристократам разыгрывать роль великодушия, когда предки их нажились грабежом государства в междоусобные войны. А мы люди бедные, люди мирные и зарабатывать можем только в размерах мирных условий. Подумай, государь, о плебейх, для которых адвокатура главный путь выйти в люди (*Cogitaret plebem quae toga enitesceret*). Если ты уничтожишь оплату интеллигентной профессии, уничтожится и самая профессия.

Клавдий, о котором Целлер справедливо говорит, что он судил как Санчо Пансо, отвечал:

— Резоны ваши — нельзя сказать чтобы из красивых, но не лишены основания (*Ut minus decora haec, ita haud dieta princeps' ratus*), — и назначил предельным гонораром судебной защиты десять тысяч сестерций: тысячу рублей. (*Taciti, Ab E. A., XI, 5.*)

Наемная совесть! Продажное сословие! — клеймит адвокатов Сенека. Очень часто клиенту было мало выиграть дело, и он нанимал адвоката, главным образом, для скандала, чтобы тот хорошенько иссрамил противную сторону. Тогда в суде разыгрывались сцены самого беспардонного забиячества и озорства, из-за частого обычая которых адвокатская кличка «брехунец» была распространена в римском на-

роде не менее, чем у нашего простонародья. Целый ряд римских писателей определяет адвокатуру, как ремесло «собачиться» (*caninum studium*). Случалось, что от слов переходили к жестам, и прения сторон обращались в рукопашную. При всех условиях рекламы, при всех сделках с совестью, многие адвокаты не выдерживали борьбы за существование с непосильной конкуренцией. Иные объявляли себя несостоятельными. Другие покидали столицу, чтобы практиковать в далекой провинции, в Галлии или Африке. Наряду с тузами, получавшими миллионы сестерций годового дохода, существовала обильная рыночная адвокатура мелких ходатаев по делам, которые едва зарабатывали на что жить, — так плохо им платили. Известны, например, провинциальные гонорары мелких процессов — в одну золотую монету за четыре речи или в 100 денариев, то есть около 12 рублей, на всю компанию защиты, самому судоговорителю (*dikologos, causidicus*), прагматику, их сподручным и присяжным свидетелям. И это — наряду с заработками, позволявшими воздвигать дворцы, о которых великий архитектор Витрувий считает нужным говорить особо и специально, как в них должна быть устроена приемная; в которых белым лесом стоят мраморные статуи — в том числе и самого хозяина — сооруженные за счет или подпиской благодарных клиентов; на подъезде толпа слуг; лестница обвешана пальмовыми венками — знаками выигранных процессов; новый клиент, как милости, добивается у грубого привратника, чтобы тот записал его в очередь приема. Щедринский Балалайкин хвастался, что коканский хан прислал ему, в виде гонорара, осетровый балык и кувшин воды. Римские Балалайкины сплошь и рядом получали вознаграждение натурой: овощами, соленой рыбой, вином, — в особенности от провинциальных клиентов, которые при этом, конечно, норовили отделаться подешевле и спустить в дар адвокату всякую заваль и брак. «В день рождения моего красноречивого приятеля Реститута, — советует Марциал, вы, клиенты, оставьте при себе мелочи вроде восковых свеч, записных книжечек, салфеток. Ты, толстопузый негоциант (вероятно злостный банкрот) из гостиного ряда Агриппы, посылай-ка адвокату пурпурную одежду; ты, нарушитель общественной тишины, ночной драчун и пьяница, — подари обеденные приборы; ты, девица, которой он помог выиграть процесс с обольстителем, подавай драгоценные камни; ты, старый коллекционер, поднеси статуэтку Фидиева резца». Размеры денежного вознаграждения, конечно, чрезвычайно колебались. Марциал в одной эпиграмме определяет свою таксу, как адвоката, в 2000 сестерций, около двухсот рублей, с уговором, и в наши дни практикуемым, что в случае проигрыша клиент уплачивает только половину. Клиент так и поступил. «За что?!» — вопиет Марциал. — «За то, что ты ничего не сказал и погубил все дело!» — «Да уж и дело твое!» — возражает Марциал, со свойственным ему бесстыдством: «ты тем более обязан мне заплатить, что мне из-за тебя при-

шлось краснеть». Издевалось общество над денежной жадностью адвокатов и над лакомством и чревоугодием их жен, развивавших в себе смешные пороки эти, вероятно, именно обилием приношений натурой. «Моя Грация, — пишет императору Марку Аврелию талантливый ритор Фронтон, — хоть и жена адвоката, но, вопреки пословице, совсем не обжора!»

Конечно, по всем этим сатирическим и полемическим выходкам, метко бичевавшим уродов в семье сословия, нельзя строить обобщений о всей римской адвокатуре. Ведь и в русской — не большинство же торжествующее те бессовестные «рвачи», которых Салтыков клеймил своей могучей сатирой. Сословие присяжных поверенных имело своих Балалайкиных, Перебоевых и прочих, «обращавших взоры на Запад», восклицая: «кладите об это место по уставам 20 ноября!» Но оно же дало России имена Спасовича, Урусова, Александрова и десятки других, которые останутся незабвенными в истории русской культуры и русской гражданственности. Так и в Риме — были свои Балалайкины, были и свои Урусовы. Избираю для сравнения это последнее имя, потому что князь Урусов, как общественная фигура адвоката-барина, красивого эстета и мягкого либерала-доктринера из кающихся дворян, наиболее подходит к тому Криспу Пассиену, с которого пошла наша речь о римской адвокатуре.

По отзывам древних писателей, Крисп Пассиен представляется человеком интересным. Заметно, что он пользовался в Риме уважением и влиянием, что к мнениям его чутко прислушивались. Светоний изображает его лукавым и остроумным, легка циническим царедворцем. Тацит сохранил его блестящую политическую остроту о Калигуле. Сенека говорит, что не знает среди современных мыслителей никого, способного с большей тонкостью определить порок и указать средства к его исцелению. Плиний рассказывает о Криспе Пассиене анекдот, рисующий знаменитого оратора поэтически настроенным пантеистом, способным, даже подобно Лежневу в тургеневском «Рудине», ходить на свидания к любимому дереву. Между богатыми и успешными адвокатами во все времена бывало много эстетов и мистиков, — это профессиональный недуг сословия: духовная реакция на утомление практикой в области чересчур материальных интересов. То же самое ведь и в нашей адвокатуре. Покойный Урусов почитается отцом и главой русских эстетов, патриархом декадентского течения. Андреевский — поэт и тонкий критик чисто эстетической школы. Минский — поэт и мистик. Плевако — мистик. Куперник, Спасович — столь же литературные и художественные критики, сколько адвокаты. Когда в Петербурге среди помощников присяжных поверенных сложилось общество юридического самообразования, под руководством С.А. Андреевского, то оно провело целую зиму в чтении и комментариях произведения бесспорно прекрасного, но не весьма юридического, а именно — пушкинского «Евгения

Онегина». Очень популярный реферат Андреевского о судебной этике — любопытнейший показатель эстетизма в нашей адвокатуре. Между прочим, в этом реферате Андреевский рассказывает, что даже такой строгий и цифровой юрист-делец, как знаменитый Пассовер, едва ли не замечательнейший практический ум русской трибуны, имел сердце, очень чуткое к «вдохновению, звукам сладким и молитвам». Он был страстный любитель поэзии и придирчивый критик стихов, укорительно обличавший поэтические вольности самого Пушкина. «Пора! перо покоя просит!» цитирует Пассовер знаменитый стих из «Онегина» и протестует: помилуйте! что же это за стих? «Пора, перо покоя просит»: четыре раза *n* и три *p*. Всех поименованных русских юристов-эстетов писатель Древнего Рима характеризовал бы как «софистов». Не в том, конечно, язвительном смысле, какой приобрело это слово в наши дни, но в смысле «оратора-мыслителя», как понимает его в конце второго века Филострат, автор «Жизни софистов», для какого-нибудь Полемона, адвоката-философа, которого речь пред судом, полная литературы и психологического анализа, обходилась клиенту в 10 000 рублей серебром. Такими софистами в римской адвокатуре были философ Сенека, историк и дипломат Светоний, естествоиспытатель Плиний Старший, литератор Фронтон, талантливый бюрократ Плиний Младший, наш Крисп Пассиен. Словом: в лице последнего, пред нами образованный, тонкий, глубокий, свободномыслящий ум, острый язык, мягкое, теплое сердце. Как человека, приятнее Криспа Агриппине трудно было бы найти мужа в той жестокой эпохе.

Затем. Как во всяком государстве, облеченном в подобие конституционных форм, адвокатура в Риме тесно соприкасалась с политической трибуной и открывала ход к блестящей карьере по общественным должностям. Подобно современной Франции, подобно России после 1905 года, в Риме политический оратор обыкновенно выдвигался из адвокатуры и часто не расставался с ее заработком даже в период своей государственной деятельности. Огромное общественное влияние адвокатуры создалось, как и всюду, ее центральным положением среди сословий. Адвокатскую профессию считали приличной для себя сенаторы и всадники; для буржуазии и низких классов она была желанным и почти единственным путем выйти в люди; выдвигаясь ярким даром слова, можно было не только составить капитал, но и выдвинуться понемногу в высшие сословия, пробиться ко двору, к государственным должностям. Мы только что слышали слова Суиллия: — Подумай, государь, о плебее, для которого адвокатура главный путь выйти в люди. Адвокатурой создались такие Гамбетты Древнего мира, консулы из выскочек, как Эприй Марцелл или Вибий Приск. Любимая родительская мечта римского буржуа, чтобы сын пошел в адвокаты или, по крайней мере, в стряпчие. Последнюю карьеру избирали, по преимуществу, те лица, которые, при юридическом складе ума, не обладали соответственным даром слова. Это те же прагматики, по-

дьячие, только сортом повыше, с широкой эрудицией, опытом крупных дел, прозорливым юридическим синтезом. Стоя в тени за эффектами показной адвокатуры, стряпчие представляли ее деловую сторону, и «станции», то есть кабинеты, бюро этих юрисконсульств, были истинными руководителями правосудия в Риме. Достаточно назвать имена Гая, Папиниана, Ульпиана, Сальвия Юлиана, Тертуллиана, которые все были учеными стряпчими, чтобы понять огромную роль их «станций» в историческом развитии и систематизации «писанного разума» — римского права. Эти люди, в охочей кляузничать столице, были постоянно осаждены публикой, ищущей советов; они начинали свои приемы с раннего утра, чуть не с петухами и занимались в бюро до десятого часа дня, т.е. до 5 часов пополудни летом и до трех зимою. Понятно, что их советы, мнения, сентенции очень хорошо оплачивались. Историки и сатирики упрекают юрисконсультов за корысть: даже зевок свой — и тот в счет вы ставите! Если клиент денежный, то, хотя бы он убил мать свою, юрисконсульт сумеет подыскать ему какой-нибудь закон в забвении, которым убивать матерей разрешается. До нас дошла надгробная надпись с могилы какого-то бедняка, разоренного судебным процессом: «Да не приблизятся к месту сему судейские крючки и стряпчие!» Влияние стряпчих было тем более ощутительно, что их участие в процессе нужно было не только клиентам и адвокатам, но и судьям, обыкновенно мало сведущим в праве, так что в руках юрисконсульта легко могли оказаться и защита дела, и решение. Легко понять, какие могли происходить отсюда стачки, интриги и торг правосудием, хотя надо заметить, что мнение юрисконсульта никогда не было обязательно для судьи, а носило лишь характер совещательный, характер экспертизы, рекомендуемой к руководству. Впоследствии, из этой факультативной консультации практика выработала постоянную судебную ассессуру, придав всем магистратам, снабженным судебной властью, одного или нескольких, всего чаще двух, непрременных членов присутствия, на обязанностях которых лежала выработка объявляемых магистратом приговоров. Наконец, третьим огромным источником влияния стряпчих надо считать их преподавательскую работу. Их бюро были своего рода вольными факультетами юридических наук, с особенным упором на камеральные знания, и, таким образом, имея под своей казуистической ферулой лучшие умы молодежи, они век за веком формировали правовую мысль Рима, как ее не только вожди, но почти что самодержцы. Помимо того, что стряпчество было делом хлебным, такие придворные имена, как Папиниан или Ульпиан, показывают, что юридическая казуистика была хорошим средством государственной карьеры, и Победоносцевы процветали не под одной только русской автократией.

В политической карьере Крисп Пассиен достиг всего, что мог получить в его время хорошо и счастливо служивший государству человек, в естественных условиях карьеры: он дважды был консулом.

В этом богатом и изящном, хотя уже пожилым адвокате Агриппи-

нашла свой золотой рудник. Она отбила Криспа у жены его Домиции, заставила его, взять развод и женила на себе. Все это, разумеется, не способствовало улучшению отношений Агриппины с золовками по первому браку: злоба Домиции на счастливую соперницу умерла только вместе с самой Домицией. Брак Криспа с Агриппиной был непродолжителен. Крисп очень скоро умер, оставив все свое состояние жене и пасынку — Л. Домицию Аэнобарбу; теперь опеку последнего, Асконию Лабеоу, уже было что оберегать. Шиллер считает даже, что именно теперь-то Люций и помещен был под опеку Лабеоу, — следовательно, по завещанию не отца своего, но отчима. Быстрая смерть Пассиена вызвала в Риме дурные толки. Говорили, будто принцесса отравила мужа после того, как выманила у него завещание. Источник слуха — поздний и сомнительный, а отравление мало вероятно уже потому, что в эту пору Агриппине, гонимой и преследуемой Мессалиной, да еще при ненависти к ней Домиции, преступление не сошло бы с рук даром. Спасшись от участи сестры своей, Юлии Ливиллы, Агриппина могла только будучи незаметной и, в безупречности своей, неуловимой для политического и уголовного доноса.

Оставшись богатой вдовой, Агриппина с удвоенной энергией бросается в круговорот дворцовых интриг и властолюбивых замыслов. По всей вероятности, именно теперь сближается она с властными вольноотпущенниками Клавдия, из которых умнейший и влиятельнейший, Паллант, впоследствии был ее любовником. Более чем сомнительно, чтобы и в это время Агриппина обращала много внимания на рост и развитие сына. Быть может, Люций, по-прежнему, даже и не был при ней, — мальчик мог все еще оставаться на попечении тетки Лепиды. Нежная привязанность Лепиды к младенцу Аэнобарбу как будто росла с годами и дошла до такой энергии, что — в самом недалеком будущем — эта женщина смело оспаривала у Агриппины право быть ближайшим человеком ее сыну, а своему племяннику. Отсюда опять-таки можно заключить, что она заменяла Л. Домицию мать не полтора-два года, покуда Агриппина была в ссылке и умирал Гн. Домиций, но гораздо больший срок.

Между тем мальчик, еще в колыбели отмеченный высокими предзнаменованиями, начинал уже привлекать к себе внимание Рима.

В 800 году Рима (47 по Р. Х.) принцепс Клавдий нашел нужным возобновить секулярные игры (*ludi saeculares*), мистический всенародный праздник, справлявшийся однажды в столетие с большими, изысканными, эпоху делающими, торжествами. Сзывая народ на секулярные игры, бирючи, рассылаемые государством по всем городам и дорогам Италии, приглашали всех свободных выразительной формулой — участвовать в празднике, «какого никто из нас не видал и никто уже не увидит». *Ludi saeculares* в древности назывались тарентинскими, от города Тарента в Великой Греции (нынешний Таранто в южной Италии), откуда, по-видимому, была заимствована Рим-

ской республикой первая форма их, копия тамошнего праздника Гиакинфий. Что касается философского содержания, влитого в эту форму, оно пришло в Рим не от греков, но от этрусков. Они влагали в слово *saeculum*, век, идею не просто ряда или совокупности ста солнечных годов, как выражает оно теперь, но идею предельной длительности человеческого поколения. Если, скажем, в день основания города родилось в народе, его основавшем, данное количество младенцев, то жизнь их начинается эру этого города, и, со смертью последнего из них, исполнится первый век города, с таким же совершенным вымиранием сыновей их окончится второй век, исчезновение внуков, правнуков и т.д. определяет собой третий, четвертый и прочие века. Приблизительный срок поколения древность, кажется, повсеместно считала 110 лет: в Халдее, в Египте, в Греции, в Этрурии. Рим также принял эту цифру. Но так как она не точная, а приблизительная, и, при размножении людей, живущие не в состоянии знать, когда в действительности вымирает предшествующий человеческий «век», то остается уповать на сверхъестественное вмешательство. На приблизительной границе двух веков боги посылают людям страшные чудеса и знамения в знак того, что пора похоронить с благодарностью прошлое поколение и благословить к исторической жизни новое. Эти два момента и определяли собой содержание римских секулярных игр: ими настоящее погребало прошедшее и молилось за будущее.

В крестьянской глубине римской истории, Тарентинские игры — не более как обломок частного родового культа влиятельнейшей фамилии Валериев, находившихся в приятельстве с этрусками. По дружбе с Валериями, переселился в Рим, с 4000 родичей своих, родоначальник Клавдиев, сабинский нобиль Атт Клавз. Вся мифология секулярных игр, поэтому, тесно связана с фамильными легендами Валериев, а вся история — с именами то Валериев, то Клавдиев. Справлялись секулярные игры в Риме, за пределами померия¹, «на Марсовом

¹ Померий, *romerium* (*post murum*), застенный участок: незастроенная полоса земли, окаймлявшая крепостные стены Рима, закаятая, т.е. отчужденная и неприкосновенная, как священный пояс «города», «Кремля». Пространство померия отчуждалось и с внутренней, и с внешней стороны стены, но, главным образом, с внешней. Ромулов померий окружал только подножие Палатинского холма. Разрастание Рима много раз вынуждало его правительство к последовательному расширению померия: при царе Сервии Туллии, диктаторе Сулле, императорах Клавдии, Нероне, Веспасиане, Траяне и Аврелиане. Расширение померия было важным государственным вопросом, так как оно расширяло и площадь компетенции выборных магистратов. Действуя под ауспигиями, т.е. под вдохновением божественного откровения, только в освященных границах померия, в городе-храме, в жилище местных божеств, откровения дающих, магистраты теряли свои полномочия, как скоро выступали за эти границы; наоборот, провинциальные про-магистры слагали свои полномочия, вступая в померий или приближаясь к нему.

поле, возле обильных вод Тибра, где он наиболее узок». Это будет в клину между нынешним Corso Vittorio Emanuele (ближе к мосту того же имени) и верхней частью набережной Сангалло, в окрестностях церковью Chiesa Nuova и Сан Джованни dei Fiorentini. Зимой 1886/87 года близ первой церкви найден был жертвенник подземных богов (Ara Ditis) — центр секулярных игр, а близ второй — обломки мраморных плит с их протоколами от эпох императоров Августа и Септимия Севера. Теперь эта местность, застроенная обновляемым Римом, отличается болотистым грунтом и уже в средних веках носила название Vallicella, Долинка, указывающее на, сравнительную с окрестностями, низменность. Но некогда именно здесь, если верить преданию, замерли последние остатки вулканической жизни Рима: была расщелина, дышавшая уже более дымом, чем огнем, и посвященная подземным божествам, Диту и Прозерпине. У расщелины этой один из Валериев, будто бы, получил чудесное исцеление трех сыновей своих, умиравших от малярии, и, в благодарность подземным богам, должен был, по приказу их самих, справить трехнощные игры, с приношением в жертву темношерстных животных. В историческом Риме урочище прослыло «Тарентом» — несомненно, по прямому воспоминанию о тарентинском ритуале, по которому Валерии справляли свой праздник. Перерождение фамильных игр рода Валериев в государственные игры Рима произошло тем же естественным путем, которым храмовой праздник, хотя бы в честь незначительного святого, но в богатом селе, с многочисленным и тароватым крестьянством, да еще при ярмарке, оказывается для целого уезда столько же важным и приманчивым, если еще не более того, как самые большие и чтимые общие праздники церковного календаря. Такое развитие частной домашней святыни в общую святыню края пережили Полтавская и Харьковская губернии всего тридцать лет тому назад: в Козельщине графы Капнисты объявили чудотворной свою домашнюю икону Божьей Матери (Мадонну итальянского письма); новый культ распространился с изумительной быстротой, и, в самом непродолжительном времени, Козельщина процвела, стала богатейшим селом, а праздники ее — событием и целью паломничества для всей Украины.

В мою задачу не входят ни мифологический анализ, ни история секулярных игр. Кто ими заинтересуется, может обратиться за подробностями к блестящей работе петербургского профессора Зелинского (*Quaestiones Comicae*) или к обширному исследованию варшавского профессора Базинера. Здесь довольно будет отметить, что, сделавшись достоянием всего римского народа, тарентинские игры не только сохранили, но и несравненно умножили свой чрезвычайный характер таинства первой важности, осуществляемого государством лишь по приказу богов, возвещаемого совпадением учащенных знамений с пророчествами Сивиллиных книг, крайне ответственного и потому редкого. Первые легендарные *ludi saeculares* относятся преда-

нием к 245—250 гг. Рима (509—504 до Р. Х.): даны были первым консулом Валерием Публиколой для прекращения опустошительного мора. Первые исторические, в 505 г. Рима (248 до Р. Х.), связаны со страшной грозой, когда молния зловеще разбила часть городской стены, циклопической постройки, приписываемой Сервию Туллию. Во главе правительства стоял тогда, близкий к Валериям, П. Клавдий Пульхр, а главным понтификом был археолог и историк Тиберий Корунканий. Это время большой эллиномании в римской большой знати, поклонения памяти Пифагора, переселения в Рим тарентинца Ливия Андроника, которому суждено было стать отцом латинской комедии, а покуда, он оказался автором первого «Векового Гимна», *Carmen Saeculare*, коим обрядно завершались секулярные игры. Неудивительно, что при таких условиях они приняли подчеркнuto тарентинский характер.

Знаменитейшие из секулярных игр были справлены императором Августом в 737 году Рима (17 до Р. Х.). Он превратил секулярный праздник в символ обновления государства внутренним миром после долгих и кровопролитных гражданских битв, в которых разрушилась старая аристократическая республика, поднялись новые сословные формации плебса, возник из них, оперся на них и окружился ими принципат. Август умел сделать из секулярных игр настоящее государственное событие. Они произвели на современников огромное впечатление и имели несомненное воспитательное значение — как бы рубежа эпохи, с которого Риму даны властью торжественные заявления, что несчастный век старого поколения для республики кончен, возрождение свершилось и официально возвещается, и, следовательно, отныне предлагается обывателю не унывать, но уповать и жить припеваючи. Если бы такой приказ по народу — «а впредь считать себя благоденствующим» — раздался из уст государя, хотя бы заслуженного, лишь по личному его убеждению, либо просто по административному самообольщению и капризу, но ни с того, ни с сего по оценке и совести современников, — то он, конечно, вызвал бы насмешки и негодование, Как и испытал это впоследствии ближайший устроитель Столетних игр, Клавдий Цезарь. Но Август необыкновенно искусно попал в чувствительную точку своей эпохи — поклонения страшно усталых людей, переживших неслыханно жестокие перевороты, жаждавших государственного отдыха, то есть извне — ровной добычливости, внутри — мира, — гражданского покоя в настоящем и надежд на его обеспечение в будущем. Август, восстановитель многих забытых древних культов, с особенным вниманием остановился на секулярных играх именно потому, что, в народном предствлении, праздник этот слыл искупительным за победный для Рима мир в Италии. Справляя секулярные игры, — повелевает подложный Сивиллин оракул, нарочно сочиненный коллегией «пятнадцати мужей» (квиндецимвиров), на основании которого Август устроил праздник:

Тогда вся Италия

И вся латинов земля всегда будет под скипетром властным
Рук твоих иго носить на затылке покорном и смирном.

(Перевод проф. Базинера.)

В сроке справиться секулярные игры государство опоздало на 32 года, но в 705 году Рима (49 до Р. Х.), в разгар политических смут, было не до игр. Да и унижительной насмешкой показалось бы празднество государственного мира в республике, раздираемой борьбой Цезаря и Помпея. Теперь же Август шел навстречу духу времени — тому мистическому духу, который искреннейше находил, что довольно выстрадаано, пора богам наградить нас, довольно века железного, подай нам век золотой. Выразительницей духа этого явилась знаменитая четвертая эклога Вергилия, которая впоследствии толковалась христианами, как пророчество о близко грядущем в мире Младенце-Иисусе и, в Средние века, сделала Вергилию репутацию некрещеного святого. В это же самое время, столько же знаменитый энциклопедист римский, М. Теренций Варон Реатинский, воскресил старое пифагорическое учение палингенезии, то есть о возвратной жизни: 110 лет — естественный человеческий век, в четыре века отошедший из мира мертвец свершает круг вне-человеческого бытия своего, и, 440 лет спустя после смерти, его душа и тело вновь встречаются и соединяются для нового рождения в повторную жизнь. Этим текстом Варрона, который будто бы заимствовал его у каких-то астрологов, составителей гороскопов, пользовался, впоследствии, блаженный Августин для доказательства воскресения мертвых плотью и личностью. По Варроновой теории, в веке Августа наступал срок палингенезии для великих деятелей первых времен Римской республики, для героической эпохи, создавшей величие Рима. Не было бы ничего удивительного, если бы *saeculum augeum*, золотой век, уповаемый умнейшими и образованными, как политическая и социальная метафора, ожидался многими совершенно реально. Республика прожила 440 лет, пора старому змею сбросить изношенную шкуру и выползти из нее в новой, блистая здоровьем, красотой и силой возрожденной молодости. В соответствии этому, если можно так выразиться, мессианическому настроению народа, сотрудники Августа, квиндецимвиры, с Атеем Капитоном во главе, переработали самый ритуал секулярных игр в гораздо более светлом направлении, чем сохранились они в прежних преданиях. Чем излагать этот длинный ритуал, предпочитаю дать подлинный текст Сивиллина пророчества, содержащего программу секулярных игр Августа.

Как только срок самый длинный придет человеческой жизни,
В сто десять лет совершивши свой круг, тогда, римлянин, даже
Если ты будешь совсем забываться, все помни, что надо
Жертвы богам приносить бессмертным на Марсовом поле
Возле обильных вод Тибра, где он наиболее узок,
Лишь только солнце на небе дневном скроет свет свой, и темень

Ночи на землю сойдет. Всерождающим Паркам ты должен Черных ягнят и козлят заколоть и затем, по обряду. Жертвами сдобрить богинь Илифий, помогающих детям Свет увидеть, а потом и Земле заколоть подобает Черную супорось. А к алтарю, посвященному Зевсу, Белых быков приводить надо днем, а не ночью; богам ведь, Жителям неба, приносят дары только днем; точно так же Жертвуй и ты. Храм же Геры потом от тебя да получит Светлую телку. Пусть Феб Аполлон, прозываемый также Солнцем, получит такие же дары, как и дочь Латоны. Да огласят храм бессмертных латинские гимны, что вместе Девы и отроки хором поют. Хоровод же особый Девушки пусть составляют, и отроки также особый; Всем им в живых еще должно иметь как отца так и мать. Пусть божеству на коленях помолятся в день тот, матроны, Сидя вблизи алтаря всехвалимого Геры державной. Нужно давать всем мужчинам и женщинам, а особливо Женщинам вещи, которые им к очищению послужат. Из дому все пусть с собой несут все, что смертным обычай В жертву принести от начатков плодов, как дары примиренья, Кротким подземным богам, да и жителям неба блаженным. Все это сложенным должно лежать, чтобы, помня как надо. Ты раздавал это в дар алтарям и актерам, участие Принявшим в играх заветных. Все дни же и сряду все ночи Должен народ собираться толпой многочисленной возле Мест, посвященных богам; да сольется серьезность с весельем. Это-то помни всегда в своем сердце: тогда вся Италия И вся латинов земля всегда будет под скипетром властным Рук твоих иго носить на затылке покорном и смирном.

(Перевод проф. О. Базинера.)

В программе этой очень заметно, что подземные цари Дит и Прозерпина, исконные хозяева праздника, теперь не только принуждены поделиться им со светлыми божествами, но даже несколько отодвинуты ими на задний план. Торжества, прежде только ночные, теперь распространены и на дни. Прошлое, оплакиваемое ночью, уступает будущему, которое радуется светом (Феб Аполлон), похороны — родинам (Илифий, Гера, Диана, как дочь Латоны, молитва им 110 избранных матрон), панихида — просительному и благодарственному молебну. Еще ярче сказывается этот радостных бодрящий тон общественных надежд в заключительном аккорде празднеств, в *Carmen Saeculare*, великолепной кантате, которую Кв. Гораций Флакк написал по предложению правительства, но с энтузиазмом мылкого патриота, и которая сделала его лауреатом народа римского, истинно народным поэтом. Исполняемый хором детей, подрастающим поколением, которому судьба жить в новом веке, вдохновенный гимн этот, весь — сверканье жизнерадостности и могучей национальной веры.

Феб и Диана, царица лесная,
О, лучезарные светочи неба, внемлите.
Чтимые ныне и вечно! о чем мы вас молим, взывая,
Нам ниспошлите.

Ныне велят предсказанья Сивиллы —
Избранным девам и отрокам чистым смиренно
Гимном всевышних, кому семь холмов наших милы,
Петь вдохновенно.

Солнце благое! приводишь-уводишь
Ты с колесницей блестящею дни, возродился снова
И неизменное вечно, о пусть ты славней не находишь
Рима родного!

О, Илифия! рождать без болезней
Ты матерям помогаешь свою заботой немалой.
Хочешь ли зваться в молитвах Люциною или любезней
Слыть Гениталой?

Юных возрасти под родимым покровом,
Благослови, о богиня, сенаторов думных решенье,
Пусть оно с брачным законом еще поколениям новым
Даст приращенье,

Чтобы, как в годы минувшие, вечно
Каждых сто лет песнопенья и игры звучали,
Чтобы три солнечных дня, три отрадные ночи беспечно
Все ликовали.

О, непреложные Парки, внимайте,
Ваши незыблемы речи в стремлении мимобегущем;
Ваши для нас повеленья свершились, отныне подайте
Счастья в грядущем.

Долы, обильные стадом и нивой,
Пусть из колосьев сплетают Церере венок ароматный,
Пусть посылает Юпитер плодам ветерок шаловливый,
Дождь благодатный.

Спрячь, Аполлон, свои стрелы в колчане.
Внемли, и кроткий, и благостный, отроков чистых напевам.
Внемли, Луна, о, царица двурогая в звездной поляне,
Славящим девам.

Если вы создали Рим, — повелели,
Чтобы на берег этрусский приплыли троянцы толпою —
Те, что, по воле богов, для далекой оставили цели
Домы и Трою;

Те, кому в пламени Трои пылавшей,
Правил Эней безупречный, отчизну свою переживший,
Пусть по свободной стихии, иную судьбу прозревавший,
Лучшую бывшей; —

Боги, вы юношам — добрые нравы,
Боги, вы старости ясной покой безмятежный пошлите,
Ромула внукам — потомства, и мощь, и сияние славы
Вечно дарите.

Дайте тому, кто, грозящих смиряя,
К слабому милостив, славный потоком Анхиза с Венерой,
Все, что он просит в молитве, здесь белых быков закалая,
С искренней верой.

Вот уж в морях и на суше хвастливый
Парфянин грозной десницы и римской секиры страшится,
Все исполнять повеленья индиец и скиф горделивый
В страхе стремится.

Вот уж и верность, и мир перед нами,
Честность, стыдливость былая, забытая доблесть дерзает
К нам возвратиться обратно, и рог изобилия плодами
Нас осыпает.

Если, украшенный блещущим луком,
Феб, прорицатель не ложный и муз десяти вдохновитель,
Лирой своею искусной телесным недугам и мукам
Добрый целитель,

Если он узрит теперь, благосклонный,
Здесь алтари Палатина, — он Рима могучее счастье
И благоденствие наше продлит до поры отдаленной,
Полный участия.

С ним и Диана — царица благая
На Авентине, Алгиде — пятнадцать мужей предстоящих
Примет, детей не оставит, внимательный слух преклоняя,
Песнь возносящих.

Мирно домой возвращаясь ясный,
С верою, что и Юпитер, и боги прияли моленье,
Где и Диане, и Фебу вознес ныне хор наш согласный
Славу хваленья.

(Перевод П.Ф. Порфилова.)

Ферреро справедливо замечает, что даже и сейчас, две тысячи лет спустя, редкий итальянский юноша читает *Carmen Saeculare* без волнения, — по крайней мере, этот страстный вопль его:

— Благое Солнце! На блестящей колеснице своей ты привозишь и вновь скрываешь смену дней, всегда ты другое родишься и всегда ты останешься одно и то же. О если бы ты никогда не узрело никакого другого величия выше города Рима!

Громадная удача игр Августа не могла не быть завидной его преемникам. Тиберий и Гай Цезарь чувствовали себя еще слишком близким к их памяти и не посягали на это предание. Но Клавдий, педант

и археолог, не мог пропустить упавшей на его правление восьмисотлетней годовщины основания Рима без соблазна воскресить величайшее государственное торжество. Притом же, ему хотелось приурочить к 800-летию Рима 550-летний юбилей своего фамильного родословия. И вот — хотя после секулярных игр Августа прошло всего 63 года — Клавдий объявил новые игры. Мотивом было, что Август-де ошибся в хронологии и отпраздновал игры свои неправильно, а доказательством тому, вероятно, выставлялась круглая цифра восемьсот, делимая на сто без остатка, тогда как 737 не годится в делимые ни для ста, ни для ста десяти, ни для естественного века этрусского, ни для гражданского века римского. Опору себе Клавдий, кропотливый археолог, мог найти в том соображении, что хотя Рим принял этрусское векоисчисление чуть не в доисторические времена, оно, все-таки, представляло собой заимствованное чужеземное новшество, а еще древнейший, исконный и подлинный, римский век был столетний, слагавшийся из ста годов в 365 дней. В десятичной круглости столетнего века общество, конечно, чувствовало себя гораздо удобнее, чем в угловатой одиннадцатикратности века священного. Словом, Клавдий мог отпраздновать свои игры только через подмен Сивиллина векоисчисления гражданским. У другого государя фокус этот, может быть, вышел бы чисто и ко благу, но Клавдий, по глупости и упрямству в археологическом педантизме, только лишней раз обратил себя во всенародное посмешище. Притом же, в обществе хорошо помнили, что совсем не так давно Клавдий, отменяющий хронологию Августа, издал специальное сочинение в защиту и доказательство правильности ныне отвергаемой хронологии этой. Бирючей Клавдия, приглашавших народ к праздникам, «которых никто из вас не видал и никто не увидит», встречали по городам хохотом, потому что всюду натыкались они на стариков, отлично помнивших Августовы игры. Праздник обставлен был с богатейшей щедростью и роскошью. Средства последней, конечно, значительно пошли вперед со временем Августа: зрелищные сооружения, которые тогда были деревянные или кирпичные, теперь сияли мраморами и т.п. Но и в театре судьба пошутила-таки над Клавдием. Играли все артистические звезды Рима и, между ними, престарелый актер Стефанион. При его выходе в театре грянул гомерический хохот: публика вспомнила, что знаменитый старик играл — юношей — и на секулярном празднике Августа! Известный придворный дипломат и величайший палатинский мошенник, Л. Вителлий, отец будущего императора А. Вителлия, поздравил Клавдия со столетними играми пожеланием: справляй почаще! Эта фраза считается, обыкновенно, верхом бесстыжей лести, но, собственно говоря, при обстоятельствах, в которых она была преподнесена, человек, менее самообольщенный, чем Клавдий, имел бы право принять ее за весьма дерзкую двусмысленность. Впоследствии игры Клавдия, кажется, были при-

знаны справленными произвольно и незаконно, а потому недействительными. По крайней мере их не принял в расчет следующий устроитель секулярного праздника, Домициан (841 г. Рима, 88 по Р. Х.). Преллер думает, что секулярные игры получили, таким образом, два канона: сто десятилетний, Августа, этрусский, и столетний, исконно римский, воскрешенный Клавдием. Позднейшие держались — кто Августова порядка: Септимий Север в 957 г. Рима, кто Клавдиева: Антонин Пий в 900 году, Филиппы, отец и сын, в 1001. Впрочем, для последних соблазн справить тысячелетний юбилей Рима, естественно, должен был стать выше всех секулярных традиций и соображений. В третьем веке по Р. Х. секулярные игры справлялись еще — Галлиеном в 1012 г. Римской эры и Диоклетианом и Максимианом в 1051 году; очевидно, оба канона, Августов и Клавдиев, в это время были уже спутаны до неупотребительности. Вылинявший в веках, праздник справляли в те промежутки, которые были выгодны государям по их политическим соображениям. Уже секулярные игры Диоклетиана и Максимиана остаются под сомнением, состоялись ли они, а в четвертом веке, с христианской реформой, секулярное празднество увяло навсегда, хотя языческая оппозиция (Аврелий Виктор, Зосим) не раз напоминала правительству забытую волю Сивиллы и ставила пренебрежение к секулярным играм в прямую причинную связь с упадком империи. Как будто собирались справить секулярный праздник при императоре Гонории. По крайней мере, современный поэт Клавдиан, приветствуя шестое консульство Гонория (404 г. по Р. Х.), говорит о каких-то предстоящих летних играх, «которые никому не суждено увидеть во второй раз». Нет никаких данных, да и невероятно по духу эпохи, чтобы это празднество побежденного культа могло осуществиться в христианском государстве-победителе.

На секулярном празднике Клавдия, в числе других архаических удовольствий и развлечений, возобновлена была «тройная игра» (*ludus Troiae*): род турнира или конной карусели, устраиваемой в память Троянской войны, как заповедал древний Эней и описал Вергилий. Приглашенный к участию в ней, вместе с другими детьми знатных фамилий, десятилетний Л. Домиций возбудил всеобщий восторг и совершенно затмил Британика, маленького наследного принца. Оно и понятно, Рим любил память Германика и потомство его, и внук народного героя, конечно, интересовал толпу больше, чем сын косноязычного, косолапого, не уважаемого Клавдия, наשמкой случая поставленного к рулю государственного корабля. Притом же, еще живы были в памяти народа жестокие преследования Агриппины Старшей императором Тиберием, ужасающая гибель ее сыновей Нерона и Друза, ссылка и голодная смерть самой вдовы Германика. Трагически быстрое крушение лучшей и наиболее чтимой ветви Августова дома окружило последних представителей ее ореолом сочувственной легенды. Знали, что Валерия Мессалина, не-

навистная народу, всемогущая супруга принцепса, люто враждует с Агриппиной и ищет погубить ее «отродье», как только что погубила она младшую из дочерей Германика — Юлию Ливиллу. Уверяли, будто императрица уже подсылала убийц умертвить крошку Домиция, но злодеи, хотя и проникли в спальню принца, не могли исполнить гнусного поручения, так как нашли колыбель младенца под священной охраной двух грозных драконов. Впоследствии, уже цезарем, Нерон сам высмеивал эту басню, объясняя, что чудесные драконы выросли в городской сплетне из крохотной змейки, действительно, как-то, однажды, заползшей в его детскую. Воспоминанием о первом общественном успехе Нерона сохранилась медаль, изображающая его и еще трех юных всадников, с копьями и под взводным значком, и на обороте надпись: *Decursio ludus Troiae*, — смотр конницы, троянская игра.

Глава третья РАБЫ РАБОВ СВОИХ

I

Осенью 801 (48) года придворная интрига, во главе которой стоял личный секретарь Клавдия, вольноотпущенник Нарцисс, сломила могущество Мессалины. Уличенная в бесстыднейших любодениях, включительно до замужества от живого мужа-цезаря, подозреваемая в стремлениях к государственному перевороту в пользу своего любовника Гая Силия, шальная психопатка эта была зарезана в садах Лукулла. Они расположены были там, где теперь *via Sestina* и *via Gregoriana* поднимаются к *S. Trinita dei Monti*. Вольноотпущенники-победители, Нарцисс, Паллант и Каллист, затеяли окрутить овдовевшего принцепса новым браком. Каждый из трех сватал ему невесту, сообразно своим симпатиям и выгодам. Каллист стоял за прекрасную Лоллию Паулину, одно время сожительствовавшую с Гаем Цезарем. Нарцисс предлагал восстановить порванный брак с разведенной супругой принцепса, Элией Петиной, из рода Туберонов, от которой Клавдий имел дочь Антонию. Паллант настойчиво рекомендовал Агриппину.

Ловкость Палланта, бесстыдная навязчивость чувственному старику самой Агриппины: по свидетельству современников, она покорила его через злоупотребления правом родственных нежностей, *ius osculī*, и могущественная поддержка одного из подлейших, но и умнейших государственных людей века, Л. Вителлия, цензора, сделали вдову Криспа Пассиена супругой цезаря Клавдия. Самым могучим доводом в пользу этой свадьбы, давшим Агриппине, торжество не только над соперницами по соискательству руки принцепса, но и над самим законом, — ибо, ради союза Клавдия и Агриппины, сенат признал на будущее время правильными кровосмесительные браки между дядями и племянницами, — самым могучим доводом неожиданно явился именно заброшенный, полузабытый малютка Л. Домиций.

Пятивековая фамилия Клавдиев, всем видимо, угасала; связь ее с Юлианским династическим корнем, возникшая путем усыновлений, нуждалась в освежении и укреплении. Агриппина и сын ее, по прямому родству через женскую линию, стояли к основателю империи, Августу, ближе, чем Клавдий и его дети. Они — по женской линии, кровные Юлии, внуки Юлии Старшей, правнуки Августа, последние из фамилии, которую народ привык считать законно, то есть по праву обычая, властвующей.

— Через Агриппину, — убеждал Клавдия Паллант, — войдет в дом Цезарей Германиков внук и озарит фамилию государя новым блеском, присоединив к знатности Клавдиев свою тройную знатность — сына принцессы Августова дома, внука Германика и последнего Домиция Аэнобарба. Будет опасно для твоей фамилии, если она, женщина совсем молодая и испытанной плодовитости, вступит в иное супружество: тогда все ее преимущества окажутся во власти какого-нибудь, соперничающего с Клавдиями, дома и обратятся против цезаря.

Агриппина поняла, что в дальнейшей политической игре ее подрастающий сын должен стать главным и решительным козырем, и — следовательно — оставлять его долее в забросе и неучем невозможно.

Мальчик обладал живым природным умом и легкой восприимчивостью, — однако, не слишком выше обычного уровня своих лет и с весьма заметной склонностью к верхоглядству. Агриппина пригласила к сыну двух педагогов вольноотпущенников Аникета и Бурра или, как читают другие, Берилла, которого отнюдь не следует смешивать с Афранием Бурром, впоследствии также воспитателем и военным министром Нерона. Аникет должен был преподавать принцу технические знания; Бурр — греческую словесность и письменность.

Произвели Домицию экзамен. Обнаружилось, что, в свои уже одиннадцать лет, внук Германика все еще круглый невежда по всем предметам начального образования. Столь запоздалое невежество — до известной степени, тоже указание, что мальчик не жил при матери, когда она, блестяще образованная сама, была женой блестяще образованного Криспа Пассиена. А, впрочем, бывает и так, что именно в очень интеллигентных на показ, светских семьях дети вырастают отчужденными от родителей, дикарями, потому что не до них и отцу-дельцу, и матери, царице салона *des esprits forts*. Миниатюрная Агриппина XIX века, Ребекка Шарп в гениальном романе Теккерея, строя свою великосветскую карьеру теми же средствами интеллигентного кокетства, сделала свой дом самым интересным и модным в Лондоне, но сын ее, Родон Кроули, рос на кухне забытым мужичонком. В доме тетки Лепиды, да, пожалуй, и в доме матери, Люция оставляли, за частым недосугом воспитателей его, танцовщика и цирюльника, на попечение простых рабов из дворни. Те таскали ребенка, вместе с собой, по уличной толкучке, заводили в кабаки, в маленькие театры, которые были не лучше кабаков, в цирк, приучая своего невежественного барчука к жизни ленивого и праздного зеваки. Весьма скоро выяснилось совершенное отсутствие у Домиция если не способностей, то охоты к какому бы то ни было серьезному предмету. Он ни к чему не имел склонности, ничего не хотел понимать, ничему не придавал цены, кроме танцев, гимнастики, картин, статуй. Всего же заметнее выразилось пристрастие принца к наследственным слабостям предков Аэнобарбов — к театру и бегам.

Агриппина пришла в ужас. Она уже прочила обручить сына с Октавией, дочерью принцепса, своей падчерицей, и, для устройства этого брака, сплела целую сеть интриг, жертвуя своим целям позором и даже жизнью нескольких, ни в чем неповинных, людей; она подготовила Клавдия к усыновлению Домиция; — и, вдруг, этот жених дочери государя, этот кандидат в «принцы юношества», стоит перед ней безграмотным уличным мальчишкой, годным лишь играть в шары да лихо проскакать верхом на жеребенке. Надо было наверстывать пропущенное — и наверстывать спешно. Чтобы Домицию не скучно было учиться, его окружили свитой товарищей-ровесников, выбранных из знатных фамилий. Затем возник вопрос о воспитателе. Первый выбор оказался неудачным. О Бурре, который, по-видимому, занимал при Аникете второстепенное положение, известно, что впоследствии он управлял греческим столом собственной канцелярии принцепса Нерона и, в этой должности, брал взятки. Жестокие взятки, если они удостоились особой отметки от, привычных к пестрейшему и лютomu лихоимству, бытописателей Рима. Аникет же явил себя никуда негодным педагогом и еще худшим человеком. Он не только не умел, но, по-видимому, даже и не хотел отрезвить своего питомца от бреда лошадыми и актерами. Неуч и шарлатан из «греченков», *graeculus*, Аникет — первообраз Вральмана. Да и Домиций, под его руководством, вряд ли далеко ушел от Митрофанушки — тем более, что имелась при нем и своего рода госпожа Простакова, всем сердцем болевшая, как бы дитя не заучили, да как бы не заболело дитя. Роль такой потатчицы и баловницы взяла на себя Домиция Лепида: она ласкала племянника, осыпала его подарками, всячески старалась угодить ему и привязать его к себе, между тем как мать обращалась с Домицием строго, даже сурово. Он боялся ее, как огня, не смел и думать об послушании и понес рабскую привычку безропотного повиновения далеко за пределы детского возраста.

Агриппина убедилась в необходимости спешно спасти сына от ложных влияний и произвела вторичный разгром его классов. Слишком поздно спохватилась: воспитание улицы и дворни успело лечь в душу ребенка неистребимым фундаментом. Со временем она успела пообтесать мальчика, вбить в него образование, изящные манеры, но ей уже не удалось спасти его характер. Воспитанник дворни и улицы, барчук-самодур, то истязатель, то приятель фамильярно-льстивого холопства, ученик бесконечной низости людей-вещей, живших в условиях цивилизованного дикарства, в состоянии почти совершенного этического неведения, в законах той нравственности, которую мы называем булменской или каторжной («хорошо — я украл, дурно — у меня украли»), — прочно засели в Нероне. Питомец рабства остался в нем жить навсегда и неизбежно смотрел из глаз его даже в лучшие и счастливейшие времена его короткого земного странствия. Понять фигуру Нерона человеку нашего века невозможно, если он не примет

во внимание рабской почвы, сквозь которую выползли на свет, уже отравленные опасной наследственностью, корни этого благородного дерева, которому суждено было вырасти ядовитым анчаром. Нерон ли, Клавдий ли, Агриппина ли, Мессалина ли, все они и они современному уму дики, призрачны и даже маловероятны до тех пор, пока мы, отстранив их фигуры, не изучим основной фон, на котором возникли, развивались, действовали, разлагались и исчезали подобные характеры: зловещий фон римского рабства.

Обращаясь к исследованию института рабства, я займусь им здесь, согласно вышеуказанной цели, только в городских его проявлениях. О рабе усадебном, сельском, будет более уместно поговорить особо и подробно в главе о земельном хозяйстве императорского Рима. Сверх того, нам предстоит еще встретиться с общими вопросами рабства в главах о вольноотпущенных (II книга) и христианстве (IV книга). Что касается рабства городского, дворового, я сперва обрисую общую роль его в быту античного Рима, в социальной машине которого он был из главных пружин. А затем остановлюсь с особым вниманием на огромном значении рабства в воспитании юношества и в дефектах античной педагогической и общей морали.

* * *

Нет страны, где хозяева не жаловались бы на слуг, не считали бы прислугу необходимым злом, неизбежным бичом домоустройства. Жалобам этим много веков. По сохранившимся свидетельствам древних хозяев, римский раб был каким-то оптовым вместилищем всех пороков. Обвинения хозяев не были далеки от истины. Забывалось в обвинениях этих одно: насколько пороки раба являлись необходимым следствием его положения.

Раб был лгуном из лгунов. Но без лжи ему и дня не прожить бы: научись хитро скрывать свои проступки, когда за малейший из них спустят со спины шкуру в домашней чижовке (*ergastulum*), в которой Валлон усматривает родоначальницу европейских «рабочих домов» и тюремного заключения с принудительной работой. А без проступков не обойтись: человек не непогрешимая машина, хотя господа и добились сделать его машиной. Как наказывали своих рабов даже добродетельные люди, свидетельствует пример Катона Старшего: слуга, провинившийся перед этим хрестоматийным образцом всех римских доблестей, предпочел — чем идти на суд грозного господина — самому удавиться.

Раб — всенепременный вор. Но как ему не быть вором, когда он — нищий, в самом буквальном смысле этого слова, а кругом — сытое по горло довольство и безумнейшая роскошь?

Раб — лентяй, обжора и пьяница.

Немудрено сбиться с пути и по этой части.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	7
---------------------	---

Книга 1 ДИНАСТИЯ ПРИ СМЕРТИ

<i>Глава первая.</i> Родословие и наследственность	23
<i>Глава вторая.</i> Люций Домиций Аэнобарб	53
<i>Глава третья.</i> Рабы рабов своих	82
<i>Глава четвертая.</i> Princeps Juventutis	130
<i>Глава пятая.</i> Звездная наука	158
<i>Глава шестая.</i> Верховная власть	191
<i>Глава седьмая.</i> Сатира на смерть Клавдия	215
<i>Глава восьмая.</i> Кто пришел к власти?	246
Полная родословная таблица gentis Juliae et gentis Claudiae	272
Список некоторых книг, читанных автором при сочинении этой книги	277
Издания античных писателей, которыми пользовался автор	282

Книга 2 ЗОЛОТОЕ ПЯТИЛЕТИЕ

<i>Глава первая.</i> Новое правительство	287
<i>Глава вторая.</i> Актэ	319
<i>Глава третья.</i> Министр финансов	349
<i>Глава четвертая.</i> Британик	365
<i>Глава пятая.</i> Попея Сабина	382
<i>Глава шестая.</i> Смерть Агриппины	435
<i>Глава седьмая.</i> История или роман?	468
<i>Глава восьмая.</i> Тацит или Поджио Браччиолини?	484
Список книг, служивших автору материалом или пособиями для сочинения этой книги	524

Книга 3
ЦЕЗАРЬ-АРТИСТ

От автора к III книге	529
<i>Глава первая.</i> Неронии	530
<i>Глава вторая.</i> Театр и толпа	578
<i>Глава третья.</i> Общественная невождержность	618
<i>Глава четвертая.</i> Падение конституционной партии	673
<i>Глава пятая.</i> Рубеллий Плавт	708
<i>Глава шестая.</i> Октавия	746
<i>Глава седьмая.</i> Оргия	765

Книга 4
ПОГАСШИЕ ЛЕГЕНДЫ

<i>Глава первая.</i> Domus Aurea	809
<i>Глава вторая.</i> Великий Римский пожар	837
<i>Глава третья.</i> Гонение на христиан	867
<i>Глава четвертая.</i> Катакомбы	906
<i>Глава пятая.</i> Римские декабристы	955
<i>Глава шестая.</i> Гибель Нерона	1019
Заключение	1043
Список книг, служивших автору пособиями и справочниками при сочинении III и IV книг «Зверя из бездны»	1075